
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>





Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

A

869,283

★ PROPERTY OF

*The
University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

ГАМБРИНУСЪ.

Купринъ, Александръ Ивановичъ

А. И. КУПРИНЪ.

ГАМБРИНУСЪ



ПАРИЖЪ

1921.

891.72

K. J. J. a

1921

Imprimerie «ZEMGOR», 216, Boulevard Raspail

11802-172

ГАМБРИНУСЪ.

I.

Такъ называлась пивная въ бойкомъ портовомъ городѣ на югѣ Россіи. Хотя она и помѣщалась на одной изъ самыхъ людныхъ улицъ, но найти ее было довольно трудно, благодаря ея подземному расположенію. Часто посѣтитель, даже близко знакомый и хорошо принятый въ Гамбринусъ, умудрялся миновать это замѣчательное заведеніе, и только пройдя двѣ-три сосѣднія лавки, возвращался назадъ.

Бывѣски совсѣмъ не было. Прямо съ тротуара входили въ узкую, всегда открытую дверь. Отъ нея вела внизъ такая-же узкая лѣстница въ двадцать каменныхъ ступеней, избитыхъ и скривленныхъ многими милліонами тяжелыхъ сапогъ. Надъ концомъ лѣстницы въ простѣнкѣ красовалось горельефное раскрашенное изображеніе славнаго покровителя пивного дѣла, короля Гамбринуса, величиною приблизительно въ два человѣ-

ческихъ роста. Вѣроятно, это скульптурное произведеніе было первой работой начинающаго любителя и казалось грубо исполненнымъ изъ окаменѣлыхъ кусковъ ноздреватой губки, но красный камзолъ, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей внизъ бѣлой пѣной не оставляли никакого сомнѣнія, что передъ посѣтителемъ — самъ великій патронъ пивоваренія.

Пивная состояла изъ двухъ длинныхъ, но чрезвычайно низкихъ, сводчатыхъ залъ. Съ каменныхъ стѣнъ всегда сочились бѣглыми струйками подземная влага и сверкала въ огнѣ газовыхъ рожковъ, которые горѣли денно и нощно, потому что въ пивной оконъ совсѣмъ не было. На сводахъ однако можно еще было достаточно ясно разобрать слѣды занимательной стѣнной живописи. На одной картинѣ пировала большая компанія нѣмецкихъ молодчиковъ, въ охотничьихъ зеленыхъ курткахъ, въ шляпахъ съ тетеревиными перьями, съ ружьями за плечами. Всѣ они, обернувшись лицомъ къ пивной залѣ, привѣтствовали публику протянутыми кружками, а двое при этомъ еще обнимали за талію двухъ дебелыхъ дѣвицъ, служанокъ при сельскомъ кабачкѣ, а можетъ-быть, дочерей добраго фермера. На другой стѣнѣ изображался

великосвѣтскій пикникъ временъ первой половины XVIII столѣтія; графини и виконты въ напудренныхъ парикахъ жеманно рѣзвятся на зеленомъ лугу съ барашками, а рядомъ, подъ развѣсистыми ивами, — прудъ съ лебедями, которыхъ граціозно кормятъ кавалеры и дамы, сидящіе въ какой-той золотой скорлупѣ. Слѣдующая картина представляла внутренность хохлацкой хаты и семью счастливыхъ малороссіянъ, пляшущихъ гопака со штофами въ рукахъ. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградомъ и листьями хмеля, два безобразно-толстыхъ амура съ красными лицами, жирными губами и безстыдно-масляными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй залѣ, отдѣленной отъ первой полукруглой аркой, шли картины изъ лягушечьей жизни: лягушки пьютъ пиво въ зеленомъ болотѣ, лягушки охотятся на стрекозъ среди густого камыша, играютъ струнный квартетъ, дерутся на шпагахъ и т. д. Очевидно, стѣны расписывалъ иностранный мастеръ.

Вмѣсто столовъ были разставлены на полу, густо усыпанномъ опилками, тяжелыя дубовыя бочки; вмѣсто стульевъ — маленькіе боченочки. Направо отъ входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло піанино. Здѣсь каждый вечеръ, уже много лѣтъ подѣ

рядъ, игралъ на скрипкѣ для удовольствія и развлечения гостей музыкантъ Сашка — еврей, — кроткій, веселый, пьяный, плѣшивый человѣкъ, съ наружностью облѣзлой обезьяны, неопредѣленныхъ лѣтъ. Проходили года, смѣнялись лакеи въ кожаныхъ нарукавникахъ, смѣнялись поставщики и развозчики пива, смѣнялись сами хозяева, но Сашка неизмѣнно каждый вечеръ къ шести часамъ уже сидѣлъ на своей эстрадѣ со скрипкой въ рукахъ и съ маленькой бѣленькой собачкой на колѣняхъ, а къ часу ночи уходилъ изъ Гамбринуса, въ сопровожденіи той-же собачки Бѣлочки, едва держась на ногахъ отъ выпитаго пива.

Впрочемъ, было въ Гамбринусѣ и другое несмѣняемое лицо — буфетчица мадамъ Иванова, — полная, безкровная, старая женщина, которая отъ непрерывнаго пребыванія въ сыромъ пивномъ подземельѣ походила на блѣдныхъ лѣнивыхъ рыбъ, населяющихъ глубину морскихъ гротовъ. Какъ капитанъ корабля изъ рубки, она съ высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу въ правомъ углу рта и щуря отъ дыма правый глазъ. Голосъ ея рѣдко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвѣчала всегда одинаковой безцвѣтной улыбкой.

II.

Громадный портъ, одинъ изъ самыхъ большихъ торговыхъ портовъ міра, всегда бывалъ переполненъ судами. Въ него заходили темно-ржавые гигантскіе броненосцы. Въ немъ грузились, идя на Дальній Востокъ, желтые толстотрубные пароходы Добровольнаго флота, поглощавшіе ежедневно длинные поѣзда съ товарами или тысячи арестантовъ. Весной и осенью здѣсь развѣвались сотни флаговъ со всѣхъ концовъ земного шара, и съ утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможныхъ языкахъ. Отъ судовъ къ безчисленнымъ пакгаузамъ и обратно по колеблющимся сходнямъ сновали грузчики: русскіе босяки, оборванные, почти оголенные, съ пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки въ грязныхъ чалмахъ и въ широкихъ до колѣнъ, но обтянутыхъ вокругъ голени шароварахъ, коренастые мускулистые персы, съ волосами и ногтями, окрашенными хиной въ огненно-морковный цвѣтъ. Часто въ портъ заходили прелестныя издали двух- и трехмачтовые итальянскія шкуны, со своими правильными этажами парусовъ — чистыхъ, бѣлыхъ и упругихъ, какъ груди молодыхъ женщинъ; показываясь изъ-за маяка, эти

стройные корабли представлялись — особенно въ ясныя весеннія утра — чудесными бѣлыми видѣніями, плывущими не по водѣ, а по воздуху, выше горизонта. Здѣсь мѣсяцами раскучивались въ грязно-зеленой портовой водѣ, среди мусора, яичной скорлупы, арбузныхъ корокъ и стадъ бѣлыхъ морскихъ чаекъ, высоковерхія анатолійскія кочермы и трапезондскія феллюги, съ ихъ странной раскраской, рѣзбой и причудливыми орнаментами. Сюда изрѣдка заплывали и какія-то диковинныя узкія суда, подъ черными просмоленными парусами, съ грязной тряпкой вмѣсто флага; обогнувъ молъ и чуть-чуть не черкнувъ объ него бортомъ, такое судно, все накренившись набокъ и не умѣрая хода, влетало въ любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятій и угрозъ къ первому попавшемуся молу, гдѣ матросы его, — почти голые, бронзовые, маленькіе люди, — издавая гортанный клекоть, съ непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно дѣлалось, какъ мертвое. И такъ-же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало изъ порта. Весь заливъ по ночамъ кишѣлъ легкими лодочками контрабандистовъ. Окрестные и дальніе рыбаки свозили въ городъ рыбу: весною — мелкую камсу,

милліонами наполнявшую доверху ихъ баркасы, лѣтомъ — уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой — десяти- и двадцатипудовую бѣлугу, выловленную часто съ большой опасностью для жизни за много верстъ отъ берега.

Всѣ эти люди—матросы разныхъ націй, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочіе, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — всѣ они были молоды, здоровы и пропитаны крѣпкимъ запахомъ моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужасъ ежедневнаго риска, цѣнили выше всего силу, молодечество, задоръ и хлесткость крѣпкаго слова, а на сушѣ предавались съ дикимъ наслажденіемъ разгулу, пьянству и дракамъ. По вечерамъ огни большого города, взбѣгавшіе высоко наверхъ, манили ихъ, какъ волшебные свѣтящіеся глаза, всегда обѣщая что-то новое, радостное, еще неиспытанное, и всегда обманывая.

Городъ соединялся съ портомъ узкими, крутыми, колѣнчатыми улицами, по которымъ порядочные люди избѣгали ходить ночью. На каждомъ шагу здѣсь попадались ночлежные дома съ грязными, забранными рѣшеткой окнами, съ мрачнымъ свѣтомъ одинокой лампы внутри. Еще чаще встрѣчались лавки, въ которыхъ можно было продать съ себя всю

одежду вплоть до натѣльной матросской сѣтки и вновь одѣться въ любой морской костюмъ. Здѣсь также было много пивныхъ, тавернъ, кухмистерскихъ и трактировъ, съ выразительными вывѣсками на всѣхъ языкахъ, и немало явныхъ и тайныхъ публичныхъ домовъ, съ пороговъ которыхъ по ночамъ грубо-размалеванныя женщины зазывали сиплыми голосами матросовъ. Были греческія кофейни, гдѣ играли въ домино и въ шестьдесятъ шесть, и турецкія кофейни, съ приборами для куренія наргиле и съ ночлѣгомъ за пятачокъ; были восточные кабачки, въ которыхъ подавали улитокъ, петалиди, креветокъ, миди, большихъ бородавчатыхъ чернильных каракатицъ и другую морскую гадость. Гдѣ-то на чердакахъ и въ подвалахъ, за глухими ставнями, ютились игорные притоны, въ которыхъ штоссъ и баккара часто кончались распоротымъ животомъ или проломленнымъ черепомъ, и тутъ-же рядомъ за угломъ, иногда въ сосѣдней каморкѣ, можно было спустить любую краденую вещь, отъ брильянтоваго браслета до серебрянаго креста и отъ тюка съ ліонскимъ бархатомъ до казенной матросской шинели.

Эти крутыя, узкія улицы, черныя отъ угольной пыли, къ ночи всегда становились липкими и зловонными, точно онѣ потѣли въ кош-

марномъ снѣ. И онѣ походили на сточныя канавы или на грязныя кишки, по которымъ большой международный городъ извергалъ въ море всѣ свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порокъ, заражая ими крѣпкія мускулистыя тѣла и простыя души.

Здѣшніе буйные обитатели рѣдко подымались навѣрхъ въ нарядный, всегда праздничный городъ съ его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сіяніемъ электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями бѣлой акаціи, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройствомъ. Но каждый изъ нихъ, прежде чѣмъ расшвырять по вѣтру свои трудовыя, засаленныя, рваныя, разбухшія рублевки, непременно посѣщалъ Гамбринусъ. Это было освящено древнимъ обычаемъ, хотя для этого и приходилось подъ прикрытіемъ вечерняго мрака пробираться въ самый центръ города.

Многіе, правда, совсѣмъ не знали мудренаго имени славнаго пивнаго короля. Просто кто-нибудь предлагалъ:

— Идемъ къ Сашкѣ?

А другіе отвѣчали:

— Есть! Такъ держать.

И уже воѣ вмѣстѣ говорили:

— Вира!

Нѣтъ ничего удивительнаго, что среди пор-

товыхъ и морскихъ людей Сашка пользовался большимъ почетомъ и извѣстностью, чѣмъ, на примѣръ, мѣстный архіерей или губернаторъ. И, безъ сомнѣнія, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изрѣдка въ Сиднеѣ и въ Плимутѣ, такъ-же, какъ въ Нью-Йоркѣ, во Владивостокѣ, въ Константинополѣ и на Цейлонѣ, не считая уже всѣхъ заливовъ и бухтъ Чернаго моря, гдѣ водилось множество почитателей его таланта изъ числа отважныхъ рыбаковъ.

III.

Обыкновенно Сашка приходилъ въ Гамбринусъ въ тѣ часы, когда тамъ еще никого не было, кромѣ одного-двухъ случайныхъ посѣтителей. Въ залахъ въ это время стоялъ густой и кислый запахъ вчерашняго пива и было темновато, потому что днемъ берегли газъ. Въ жаркіе іюльскіе дни, когда каменный городъ изнывалъ отъ солнца и глохъ отъ уличной трескотни, здѣсь пріятно чувствовалась тишина и прохлада.

Сашка подходилъ къ прилавку, здоровался съ мадамъ Ивановой и выпивалъ свою ~~первую~~ кружку пива. Иногда буфетчица просила:
— Саша, сыграйте что-нибудь!

— Что прикажете вамъ сыграть, мадамъ Иванова? — любезно освѣдомлялся Сашка, который всегда былъ съ ней изысканно-любезенъ.

— Что-нибудь свое...

Онъ сѣлся на обычное мѣсто налѣво отъ піанино и игралъ какія-то странныя, длительныя, тоскливыя пьесы. Становилось какъ-то сонно и тихо въ подземельѣ, только съ улицы доносилось глухое рокотаніе города, да изрѣдка лакеи осторожно побрякивали посудой за стѣной на кухнѣ. Со струнъ Сашкиной скрипки плакала древняя, какъ земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цвѣтами національных мелодій. Лицо Сашки съ напряженнымъ подбородкомъ и низко опущеннымъ лбомъ, съ глазами, сурово глядѣвшими вверхъ изъ-подъ отяжелѣвшихъ бровей, совсѣмъ не бывало похоже въ этотъ сумеречный часъ на знакомое всѣмъ гостямъ Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Бѣлочка сидѣла у него на колѣняхъ. Она давно уже привыкла не подвывать музыкѣ, но страстно-тоскливые, рыдающіе и проклинающіе звуки невольно раздражали ее: она въ судорожныхъ зѣвкахъ широко раскрывала ротъ, завивая назадъ тонкій розовый язычокъ, и при этомъ на минуту дрожала

всѣмъ тѣльцемъ и нѣжной черноглазой мордочкой.

Но вотъ мало-по-малу набиралась публика, приходилъ аккомпаниаторъ, покончившій какое-нибудь стороннее дневное занятіе у портного или часовщика, на буфетѣ выставлялись сосиски въ горячей водѣ и бутерброды съ сыромъ, и наконецъ зажигались всѣ остальные газовые рожки. Сашка выпивалъ свою вторую кружку, командовалъ товарищу: «Майскій парадъ, ейнъ, цвей, дрей!» и начиналъ бурный маршъ. Съ этой минуты онъ едва успѣвалъ раскланиваться со вновь входящими, изъ которыхъ каждый считалъ себя особеннымъ интимнымъ знакомымъ Сашки и оглядывалъ гордо прочихъ гостей послѣ его поклона. Въ то-же время Сашка прищуривалъ то одинъ, то другой глазъ, собиралъ кверху длинныя морщины на своемъ лысомъ, потомъ назадъ черепъ, двигалъ комически губами и улыбался на всѣ стороны.

Къ десяти-одиннадцати часамъ Гамбринусъ, вмѣщавшій въ свои залы до двухсотъ и болѣе человѣкъ, оказывался биткомъ-набитымъ. Многіе, почти половина, приходили съ женщинами въ платочкахъ, никто не обижался на тѣсноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны; если обижались, то только по пьяному дѣлу

«для задера». Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнѣе струилась со стѣнъ, покрытыхъ масляной краской, а испаренія толпы падали внизъ съ потолка, какъ рѣдкій, тяжелый, теплый дождь. Пили въ Гамбринусѣ серьезно. Въ нравахъ этого заведенія почиталось особеннымъ шикомъ, сидя вдвоемъ-втроемъ, такъ уставлять столъ пустыми бутылками, чтобы за ними не видѣть собесѣдника, какъ въ стеклянномъ зеленомъ лѣсу.

Въ развалѣ вечера гости краснѣли, хрипли и становились мокрыми. Табачный дымъ рѣзалъ глаза. Надо было кричать и нагибаться черезъ столъ, чтобы разслышать другъ друга въ общемъ гамѣ. И только неутомимая скрипка Сашки, сидѣвшаго на своемъ возвышеніи, торжествовала надъ духотой, надъ жарой, надъ запахомъ табака, газа, пива и надъ ораніемъ безцеремонной публики.

Но посѣтители быстро пьянѣли отъ пива, отъ близости женщинъ, отъ жаркаго воздуха. Каждому хотѣлось своихъ любимыхъ, знакомыхъ пѣсенъ. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукавъ и мѣшая ему играть, по два, по три человѣка, съ тупыми глазами и нетвердыми движеніями.

— Сашш!.. С-стра-дательную... Убла... — проситель икалъ: — убла-а-твори!

— Сейчасъ, сейчасъ, — твердилъ Сашка,

быстро кивая головой и, съ ловкостью врача, безъ звука, опускалъ въ боковой карманъ серебряную монету. — Сейчасъ, сейчасъ.

— Сашка, это-же подлость. Я деньги далъ и уже двадцать разъ прошу: «Въ Одессу моремъ я плыла».

— Сейчасъ, сейчасъ...

— Сашка, «Соловья»!

— Сашка, «Марусю»!

— «Зець-Зець», Сашка, «Зець-Зець»!

— Сейчасъ, сейчасъ...

— «Ча-ба-на»! — оралъ съ другого конца залы не человѣческій, а какой-то жеребчій голосъ.

И Сашка при общемъ хохотѣ кричалъ ему по-пѣтушиному:

— Сейча-а-ась...

И онъ игралъ безъ отдыха всѣ заказанныя пѣсни. Повидимому, не было ни одной, которой-бы онъ не зналъ наизусть. Со всѣхъ сторонъ въ карманы ему сыпались серебряныя монеты, и со всѣхъ столовъ ему присылали кружки съ пивомъ. Когда онъ слѣзалъ со своей эстрады, чтобы подойти къ буфету, его разрывали на части.

— Сашенька... Мил'чекъ... Одну кружечку.

— Саша, за ваше здоровье. Иди-же сюда, чортъ, печенки, селезенки, если тебѣ говорить.

— Сашка-а, пиво иди пи-ить! — ораль же-ребячій голось.

Женщины, склонныя, какъ и всѣ женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболѣпствовать передъ ними, звали его воркующимъ голосомъ, съ игривымъ, капризнымъ смѣшкомъ:

— Сашечка, вы должны непременно отъ мене выпить... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я васъ прошу. И потомъ сыграйте «куку-вокъ».

Сашка улыбался, гримасничалъ и кланялся налево и направо, прижималъ руку къ сердцу, посылалъ воздушные поцѣлуи, пилъ у всѣхъ столовъ пиво и, возвратившись къ піанино, на которомъ его ждала новая кружка, начиналъ играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потѣшить своихъ слушателей, онъ заставлялъ свою скрипку въ ладъ мотиву скулить щенкомъ, хрюкать свиньею или хрипѣть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встрѣчали эти шутки съ благодушнымъ одобреніемъ:

— Го-го-го-го-о-о!

Становилось все жарче. Съ потолка лило, нѣкоторые изъ гостей уже плакали, ударяя себя въ грудь, другіе съ кровавыми глазами ссорились изъ-за женщинъ и изъ-за прежнихъ обидъ и лѣзли другъ на друга, удерживаемые болѣе трезвыми сосѣдями, чаще всего

прихлебателями. Лакеи чудомъ протискивались между бочками, боченками, ногами и туловищами, высоко держа надъ головами сидящихъ свои руки, униженные пивными кружками. Мадамъ Иванова, еще болѣе безкровная, невозмутимая и молчаливая, чѣмъ всегда, распоряжалась изъ-за буфетной стойки дѣйствіями прислуги, подобно капитану судна во время бури.

Всѣхъ одолѣвало желаніе пѣть. Сашка, размякшій отъ пива, отъ собственной доброты и отъ той грубой радости, которую доставляла другимъ его музыка, готовъ былъ играть что угодно. И подъ звуки его скрипки охрипшіе люди нескладными деревянными голосами орали въ одинъ тонъ, глядя другъ другу съ бессмысленной серьезностью въ глаза:

„На что намъ ра-азлучаться,
Ахъ, на что въ разлу-укѣ жить.
Не лучше-ль повѣнчаться,
Любовью дорожить?“

А рядомъ другая компанія, стараясь перекричать первую, очевидно, враждебную, голосила уже совсѣмъ вразбродъ:

„Вижу я по походкѣ,
Что пестрѣются штанцы.
Въ него волосъ подъ шантрета
И на рипахъ сапоги.“

Гамбринусъ часто посѣщали малоазіатскіе греки «допголаки», которые приплывали въ русскіе порты на рыбные промыслы. Они тоже заказывали Сашкѣ свои восточныя пѣсни, состоящія изъ унылаго, гнусаваго, однообразнаго воя на двухъ-трехъ нотахъ, и съ мрачными лицами, съ горящими глазами, готовы были пѣть ихъ по цѣлымъ часамъ. Игралъ Сашка и итальянскіе народные куплеты, и хохлацкія думки, и еврейскіе свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла въ Гамбринусъ кучка матросовъ-негровъ, которымъ, глядя на другихъ, тоже очень захотѣлось попѣть. Сашка быстро уловилъ по слуху скачущую негритянскую мелодію, тутъ-же подобралъ къ ней аккомпаниментъ на піанино, и вотъ, къ большому восторгу и потѣхѣ завсегдатаевъ Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской пѣсни.

Одинъ репортеръ мѣстной газеты, Сашкинъ знакомый, уговорилъ какъ-то профессора музыкальнаго училища пойти въ Гамбринусъ послушать тамошняго знаменитаго скрипача. Но Сашка догадался объ этомъ и нарочно заставилъ скрипку болѣе обыкновеннаго мяукать, блять и ревѣть. Гости Гамбринуса такъ и разрывались отъ смѣха, а профессоръ сказалъ презрительно:

— Клоунство.

И ушелъ, не допивъ своей кружки.

IV.

Нерѣдко деликатныя маркизы и пирующіе нѣмецкіе охотники, жирные амуры и лягушки бывали со своихъ стѣнъ свидѣтелями такого широкаго разгула, какой рѣдко гдѣ можно было-бы увидѣть, кромѣ Гамбринуса.

Являлась, напримѣръ, закутившая компанія воровъ, послѣ хорошаго дѣла, каждый съ возлюбленной, каждый въ фуражкѣ, лихо заломленной набокъ, въ лакированныхъ сапогахъ, съ изысканными трактирными манерами, съ пренебрежительнымъ видомъ. Сашка игралъ для нихъ особыя, воровскія пѣсни: «Погибъ я мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другія. Плясать они считали ниже своего достоинства, но ихъ подруги, всѣ недурныя собой, молоденькія, иныя почти дѣвочки, танцовали «Чабана» съ визгомъ и щелканьемъ каблучковъ. И женщины и мужчины пили очень много — было дурно только то, что воры всегда заканчивали свой кутежъ старыми денежными недоразумѣніями, и любили исчезнуть, не платя.

Приходили большими артелями, человекъ по тридцати, рыбаки послѣ счастливаго улова. Поздней осенью выдавались такія счастливыя недѣли, когда въ каждый заводъ попадалось ежедневно тысячъ по сорока скумбріи или кефали. За это время самый мелкій пайщикъ зарабатывалъ болѣе двухсотъ рублей. Но еще болѣе обогащаль рыбаковъ удачный ловъ бѣлуги зимой, зато онъ и отличался большими трудностями. Приходилось тяжело работать, за 30 — 40 верстъ отъ берега, среди ночи, иногда въ ненастную погоду, когда вода заливала баркасъ и тотчасъ-же обледенѣвала на одеждѣ, на веслахъ, а погода держала по двое, по трое сутокъ въ морѣ, пока не выбрасывала куда-нибудь верстъ за 200, въ Анапу или въ Трапезондъ. Каждую зиму пропадало безъ вѣсти до десятка яликовъ, и только весною волны прибывали то тутъ, то тамъ, къ чужому берегу трупы отважныхъ рыбаковъ.

Зато, когда они возвращались съ моря благополучно и удачно, то на сушѣ ими овладѣвала бѣшенная жажда жизни. Нѣсколько тысячъ рублей спускались въ 2 — 3 дня въ самомъ грубомъ, оглушительномъ, пьяномъ кутежѣ. Рыбаки забирались въ трактиръ или еще въ какое-нибудь веселое мѣсто, вышвыривали всѣхъ постороннихъ гостей,

запирали на-глухо двери и ставни и цѣлыя сутки напролетъ пили, предавались любви, орали пѣсни, били зеркала, посуду, женщинъ и нерѣдко другъ друга, пока сонъ не одолѣвалъ ихъ гдѣ попало — на столахъ, на полу, поперекъ кроватей, среди плевковъ, окурковъ, битого стекла, разлитого вина и кровавыхъ пятенъ. Такъ кутили рыбаки нѣсколько сутокъ подъ рядъ, иногда мѣняя мѣсто, иногда оставаясь въ одномъ и томъ-же. Прокутивъ все до послѣдняго гроша, они съ гудящими головами, со знаками битвъ на лицахъ, трясясь отъ похмелья, молчаливые, удрученные и покаянные, шли на берегъ, къ баркасамъ, чтобы принятьсь вновь за свое милое и проклятое, тяжелое и увлекательное ремесло.

Они никогда не забывали навѣстить Гамбринусъ. Они туда вламывались огромные, осипшіе, съ красными лицами, обожженными свирѣпымъ зимнимъ нордъ-остомъ, въ непромокаемыхъ курткахъ, въ кожаныхъ штанахъ и въ воловьихъ сапогахъ по бедра, — въ тѣхъ самыхъ сапогахъ, въ которыхъ ихъ друзья среди бурной ночи шли ко дну, какъ камни.

Изъ уваженія къ Сашкѣ они не выгоняли постороннихъ, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелыя кружки объ полъ. Сашка игралъ имъ ихнія рыбацкія

пѣсни, протяжныя, простыя и грозныя, какъ шумъ моря, и они пѣли всѣ въ одинъ голосъ, напрягая до послѣдней степени свои здоровыя груди и закаленные глотки. Сашка дѣйствовалъ на нихъ, какъ Орфей, усмиравшій волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалѣтній атаманъ баркаса, бородатый, весь обвѣтренный, звѣроподобный мужчине, заливался слезами, выводя тонкимъ голосомъ жалостливыя слова пѣсни:

Ахъ, бѣдный, бѣдный я мальчишечка,
Что вродился рыбакомъ...

А иногда они плясали, топчась на мѣстѣ, съ каменными лицами, громяя своими пудовыми сапогами и распространяя по всей пивной острый соленый запахъ рыбы, которымъ насквозь пропитаны ихъ тѣла и одежды. Къ Сашкѣ они были очень щедры и подолгу не отпускали отъ своихъ столовъ. Онъ хорошо зналъ образъ ихъ тяжелой, отчаянной жизни. Часто, когда онъ игралъ имъ, то чувствовалъ у себя въ душѣ какую-то почтительную грусть.

Но особенно онъ любилъ играть англійскимъ матросамъ съ коммерческихъ судовъ. Они приходили гурьбой, держась рука объ руку — всѣ какъ-бы на подборъ грудастые, широкоплечіе, молодые, бѣлозубые, съ здо-

ровымъ румянцемъ, съ веселыми, смѣлыми, голубыми глазами. Крѣпкія мышцы распирали ихъ куртки, а изъ глубоко вырѣзанныхъ воротниковъ возвышались прямая, могучія, стройныя шеи. Нѣкоторые знали Сашку по прежнимъ стоянкамъ въ этомъ порту. Они узнавали его и, привѣтливо скаля бѣлые зубы, привѣтствовали его по-русски:

— Здрайсть, здрайсть.

Сашка самъ, безъ приглашенія, игралъ имъ «Rule Britannia». Должно-быть, сознаніе того, что они сейчасъ находятся въ странѣ, отягощенной вѣчнымъ рабствомъ, придавало особенно гордую торжественность этому гимну англійской свободы. И когда они пѣли, стоя, съ обнаженными головами, послѣднія великолѣпныя слова:

Никогда, никогда, никогда

Англичанинъ не будетъ рабомъ! —

то невольно и самые буйные сосѣди снимали шапки.

Коренастый боцманъ съ серьгой въ ухѣ и съ бородой, растущей точно бахрома изъ шеи, подходилъ къ Сашкѣ съ двумя кружками пива, широко улыбался, хлопалъ его дружелюбно по спинѣ и просилъ сыграть джигу. При первыхъ-же звукахъ этого залихватскаго морского танца, англичане вскакивали и

расчищали мѣсто, отодвигая къ стѣнамъ боченки. Постороннихъ просили объ этомъ жестами, съ веселыми улыбками, но если кто не торопился, съ тѣмъ не церемонились, а прямо вышибали изъ-подъ него сидѣніе хорошимъ ударомъ ноги. Къ этому, однако, прибѣгали рѣдко, потому что въ Гамбринусѣ всѣ были цѣнителями танцевъ и въ особенности любили англійскую джигу. Даже самъ Сашка, не переставая играть, становился на стулъ, чтобы лучше видѣть.

Матросы дѣлали кругъ и въ тактъ быстрому танцу били въ ладоши, а двое выступали въ серединку. Танецъ изображалъ жизнь матроса во время плаванія. Судно готово къ отходу, погода чудесная, все въ порядкѣ. У танцоровъ руки скрещены на груди, головы откинута назадъ, тѣло спокойно, хотя ноги выбиваютъ бѣшеную дробь. Но вотъ поднялся вѣтерокъ, начинается небольшая качка. Для моряка — это одно веселье, только колѣна танца становятся все сложнѣе и замысловатѣе. Задулъ и свѣжій вѣтеръ — ходить по палубѣ уже не такъ удобно — танцоровъ слегка покачиваетъ съ боку на бокъ. Наконецъ вотъ и настоящая буря — матроса швыряетъ отъ борта къ борту, дѣло становится серьезнымъ. — «Всѣ наверхъ, убирать паруса!» По движеніямъ танцоровъ до смѣшного понятно, какъ они карабкаются

руками и ногами на ванты, тянуть паруса и крѣпить шкоты, между тѣмъ какъ буря все сильнѣе раскачиваетъ судно. «Стой, человѣкъ за бортомъ!» Спускаютъ шлюпку. Танцоры, опустивъ внизъ головы, напруживъ мощныя, голыя шеи, гребутъ частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря однако проходить, мало-по-малу утихаетъ качка, проясняется небо, и вотъ уже судно опять плавно бѣжитъ съ попутнымъ вѣтромъ, и опять танцоры съ неподвижными тѣлами, со скрещенными руками, отдѣлываютъ ногами веселую частую джигу.

Приходилось Сашкѣ иногда играть лезгинку для грузинъ, которые занимались въ окрестностяхъ города винодѣліемъ. Для него не было незнакомыхъ плясокъ. Въ то время, когда одинъ танцоръ, въ папахѣ и черкескѣ, воздушно носился между бочками, закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали въ тактъ и подкрикивали, Сашка тоже не могъ утерпѣть и вмѣстѣ съ ними одушевленно кричалъ: «Хась! хась! хась! хась!» Случалось ему также играть молдаванскій джокъ и итальянскую тарантеллу и вальсы нѣмецкимъ матросамъ.

Случалось, что въ Гамбринусѣ дрались, и довольно жестоко. Старые посѣтители любили рассказывать о легендарномъ побоищѣ

между русскими военными матросами, уволенными въ запасъ съ какого-то крейсера, и англійскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли другъ въ друга боченками для сидѣнія. Не къ чести русскихъ матросовъ надо сказать, что они первые начали скандалъ, первые-же пустили въ ходъ ножи и вытѣснили англичанъ изъ пивной только послѣ получасового боя, хотя превосходили ихъ численностью въ три раза.

Очень часто Сашкино вмѣшательство останавливало ссору, которая на волоскѣ висѣла отъ кровопролитія. Онъ подходилъ, шутилъ, улыбался, гримасничалъ, и тотчасъ-же со всѣхъ сторонъ къ нему протягивались бокалы.

— Сашка, кружечку!.. Сашка, со мной!.. Въра, законъ, печенки, гробъ...

Можетъ быть, на простые дикіе нравы вліяла эта кроткая и смѣшная доброта, весело лучившаяся изъ его глазъ, спрятанныхъ подъ покатымъ черепомъ? Можетъ быть, своеобразное уваженіе къ таланту и что-то въ родѣ благодарности? А можетъ-быть, также и то обстоятельство, что большинство завсегдатаевъ Гамбринуса состояло вѣчными Сашкиными должниками. Въ тяжелыя минуты «декохта», что на морскомъ и порто-

вомъ жаргонѣ обозначаетъ полное безденежье, къ Сашкѣ свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшимъ кредитомъ у буфета.

Конечно, долговъ ему не возвращали — не по злостному умыслу, а по забывчивости, — но эти-же должники въ минуту разгула возвращали ссуду десятирицею за Сашкины пѣсни.

Буфетчица иногда выговаривала ему:

— Удивляюсь, Саша, какъ это вы не жалѣете своихъ денегъ?

Онъ возражалъ убѣдительно:

— Да мадамъ-же Иванова. Да мнѣ-же ихъ съ собой въ могилу не брать. Намъ съ Бѣлочкой хватить. Бѣлинька, собачка моя, поди сюда.

V.

Появлялись въ Гамбринусѣ также и свои модныя, сезонныя пѣсни.

Во время войны англичанъ съ бурами процвѣталъ «бурскій маршъ» (кажется, къ этому именно времени относилась знаменитая драка русскихъ моряковъ съ англійскими). По меньшей мѣрѣ разъ двадцать въ вечеръ заставляли Сашку играть эту героическую пьесу и неизмѣнно въ концѣ ея махали фуражками, кри-

чали «ура», а на равнодушныхъ косились недружелюбно; что не всегда бывало добрымъ предзнаменованіемъ въ Гамбринусъ.

Затѣмъ подошли франко-русскія торжества. Градоначальникъ съ кислой миной разрѣшилъ играть марсельезу. Ее тоже требовали ежедневно, но уже не такъ часто, какъ бурскій маршъ, при чемъ «ура» кричали жиже и шапками совсѣмъ не размахивали. Происходило это оттого, что, съ одной стороны, не было мотивовъ для игры сердечныхъ чувствъ, съ другой стороны — посѣтители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а съ третьей — было замѣчено, что каждый вечеръ требуютъ марсельезу и кричатъ «ура» все одни и тѣ-же лица.

На минутку сдѣлался-было моднымъ мотивъ кекъ-уока, и даже какой-то случайный, заколобродившій купчикъ, не снимая енотовой шубы, высокихъ калошъ и лисьей шапки, протанцовалъ его однажды между бочками. Однако этотъ негритянской танецъ былъ въ скорости позабытъ.

Но вотъ наступила великая японская война. Посѣтители Гамбринуса зажили ускоренною жизнью. На боченкахъ появились газеты, по вечерамъ спорили о войнѣ. Самые мирные, простые люди обратились въ политиковъ и стратеговъ, но каждый изъ нихъ въ

глубинѣ души трепеталъ, если не за себя, то за брата, или, что еще вѣрнѣе, за близкаго товарища: въ эти дни ясно сказалась та незамѣтная и крѣпкая связь, которая спаиваетъ людей, долго раздѣлявшихъ трудъ, опасность и ежедневную близость къ смерти.

Вначалѣ никто не сомнѣвался въ нашей побѣдѣ. Сашка раздобылъ гдѣ-то «Куропаткинъ-маршъ» и вечеровъ двадцать подъ рядъ игралъ его съ нѣкоторымъ успѣхомъ. Но какъ-то въ одинъ вечеръ «Куропаткинъ-маршъ» былъ навсегда вытѣсненъ пѣсней, которую привезли съ собой балаклавскіе рыбаки, «соленые греки» или «пиндосы», какъ ихъ здѣсь называли:

„Ахъ, зачѣмъ насъ отдали въ солдаты,
Посылають на Дальній Востокъ?
Неужели-же мы въ томъ виноваты,
Что вышли ростомъ на лишній вершокъ?“

Съ тѣхъ поръ въ Гамбринусѣ ничего другого не хотѣли слушать. Цѣлыми вечерами только и было слышно требованіе:

— Саша, страдательную! Балаклавскую! запасную!

Пѣли и плакали и пили вдвое больше обыкновеннаго, какъ, впрочемъ, пила тогда поголовно вся Россія. Каждый вечеръ приходилъ кто-нибудь прощаться, храбрился, ходилъ пѣтухомъ, бросалъ шапку объ землю, гро-

зился одинъ разбить всѣхъ япошекъ и кончалъ страдательной пѣсней со слезами.

Однажды Сашка явился въ пивную раньше, чѣмъ всегда. Буфетчица, наливъ ему первую кружку, сказала, по обыкновенію:

— Саша, сыграйте что-нибудь свое...

У него вдругъ закривились губы, и кружка заходила въ рукѣ.

— Знаете что, мадамъ Иванова? — сказалъ онъ точно въ недоумѣніи. — Вѣдь меня-же въ солдаты забираютъ. На войну.

Мадамъ Иванова всплеснула руками.

— Да не можетъ быть, Саша! Шутите?

— Нѣтъ, — уныло и покорно покачалъ головой Сашка: — не шучу.

— Но вѣдь вамъ лѣта вышли, Саша? Сколько вамъ лѣтъ?

Этимъ вопросомъ какъ-то до сихъ поръ никто не интересовался. Всѣ думали, что Сашкѣ столько-же лѣтъ, сколько стѣнамъ пивной, маркизамъ, хохламъ, лягушкамъ и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему входъ.

— Сорокъ шесть. — Саша подумалъ. — А можетъ быть, сорокъ девять. Я сирота, — прибавилъ онъ уныло.

— Такъ вы пойдите, объясните кому слѣдуетъ.

— Я уже ходилъ, мадамъ Иванова, я уже объяснялъ.

— И... Ну?

— Ну, мнѣ отвѣтили: пархатый жидъ, жидовская морда, поговори еще — попадешь въ клоповникъ... И дали вотъ сюда.

Вечеромъ новость стала извѣстной всему Гамбринусу, и изъ сочувствія Сашку напоили мертвецки. Онъ пробовалъ кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но изъ его кроткихъ, смѣшныхъ глазъ глядѣли грусть и ужасъ. Одинъ здоровенный рабочій, ремесломъ котельщикъ, вдругъ вызвался итти на войну вмѣсто Сашки. Всѣмъ была ясна очевидная глупость такого предложенія, но Сашка растрогался, обнялъ котельнаго мастера и тутъ-же подарилъ ему свою скрипку. А Бѣлочку онъ оставилъ буфетчицѣ.

— Мадамъ Иванова, вы-же смотрите за собачкой. Можетъ, я и не вернусь, такъ будетъ вамъ память о Сашкѣ. Бѣлинька, собачка моя! Смотрите, облизывается. Ахъ, ты, моя бѣдная... И еще попрошу васъ, мадамъ Иванова. У меня за хозяиномъ остались деньги, такъ вы получите и отправьте... Я вамъ напишу адреса. Въ Гомелѣ у меня есть двоюродный братъ, у него семья, и еще въ Жмеринкѣ живетъ вдова племянника. Я имъ каждый мѣсяцъ... Что-жъ, мы, евреи, такой

народъ... мы любимъ родственниковъ. А я сирота, я одинокій. Прощайте-же, мадамъ Иванова.

— Прощайте, Саша! Давайте хоть поцѣлуемся на прощаніе-то. Сколько лѣтъ... И — вы не сердитесь — я васъ перекрещу на дорогу.

Сашкины глаза были глубоко-печальны, но онъ не могъ удержаться, чтобы не спаясничать напоследокъ:

— А что, мадамъ Иванова, я отъ русскаго креста не подохну?

VI.

Гамбринусъ опустѣлъ и заглохъ, точно онъ осиротѣлъ безъ Сашки и его скрипки. Хозяинъ пробоваль-было пригласить въ видѣ приманки квартетъ бродячихъ мандолинистовъ, изъ которыхъ одинъ, одѣтый опереточнымъ англичаниномъ съ рыжими баками и наклейнымъ носомъ, въ клѣтчатыхъ панталонахъ и въ воротничкѣ выше ушей, исполнялъ съ эстрады комическіе куплеты и безстыдныя тѣлодвиженія. Но квартетъ не имѣлъ ровно никакого успѣха: наоборотъ, мандолинистамъ свистали и бросали въ нихъ огрызками сосисокъ, а главнаго комика од-

нажды поколотили тендровскіе рыбаки за непочтительный отзывъ о Сашкѣ.

Однако, по старой памяти, Гамбринусъ еще посѣщался морскими и портовыми молодцами изъ тѣхъ, кого война не повлекла на смерть и страданіе. Сначала о Сашкѣ вспоминали каждый вечеръ:

— Эхъ, Сашку-бы теперь! Душѣ безъ него тѣсно...

— Да-а... Гдѣ-то ты витаешь, милъ-любезный другъ Сашенька?

«Въ поляхъ Манжу-у-уріи далеко»... —

заводилъ кто-нибудь новую сезонную пѣсню, смущенно замолкалъ, а другой произносилъ неожиданно:

— Раны бываютъ сквозныя, колотыя и рубленыя. А бываютъ и рваныя...

«Сибѣ съ побѣдой проздравляю,
Тибѣ съ оторванной рукой»...

— Постой, не скули... Мадамъ Иванова, отъ Сашки нѣтъ-ли какихъ извѣстій? Письма или открыточки?

Мадамъ Иванова теперь цѣлыми вечерами читала газету, держа ее отъ себя на разстояніи вытянутой руки, откинувъ голову и шевеля губами. Бѣлочка лежала у нея на колѣняхъ и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана,

стоящаго на посту, а ея команда бродила по пивной вялая и заспанная.

На вопросъ о Сашкиной судьбѣ она медленно качала головой.

— Ничего не знаю... И писемъ нѣтъ, и изъ газетъ ничего неизвѣстно.

Потомъ медленно снимала очки, клала ихъ вмѣстѣ съ газетой, рядомъ съ теплой, угрѣвшейся Бѣлочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала.

Иногда она, склоняясь къ собачкѣ, говорила жалобнымъ, трогательнымъ голоскомъ:

— Что, Бѣлинька? Что, собаченька? Гдѣ нашъ Саша? А? Гдѣ нашъ хозяинъ?

Бѣлочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и въ тонъ буфетчицѣ начинала тихонько подвывать:

— А-у-у-у... Ау-фъ... А-у-у...

Но... все обтачиваетъ и смываетъ время. Мандолинистовъ смѣнили балалаечники, балалаечниковъ — русско-малороссійскій хоръ съ дѣвицами, и наконецъ прочіе другихъ утвердился въ Гамбринусѣ извѣстный Лешка-гармонистъ, по профессіи воръ, но рѣшившій, вслѣдствіе женитьбы, искать правильныхъ путей. Его давно знали по разнымъ трактирамъ, а потому терпѣли и здѣсь, да, впро-

чемъ, и надо было терпѣть: дѣла въ Гамбри-
нусѣ шли очень плохо.

Проходили мѣсяцы, прошелъ годъ. О Сашкѣ
теперь никто не вспоминалъ, кромѣ мадамъ
Ивановой, да и та больше не плакала при его
имени. Прошелъ еще годъ. Должно-быть о
Сашкѣ забыла даже и бѣленькая собачка.

Но, вопреки Сашкиному сомнѣнію, онъ не
только не подохъ отъ русскаго креста, но не
былъ даже ни разу раненъ, хотя участвовалъ
въ трехъ большихъ битвахъ и однажды хо-
дилъ въ атаку впереди батальона въ составѣ
музыкантской команды, куда его зачислили
играть на флейтѣ. Подъ Вафангоу онъ попалъ
въ плѣнъ и по окончаніи войны былъ приве-
зенъ на германскомъ пароходѣ въ тотъ са-
мый портъ, гдѣ работали и буйствовали его
друзья.

Вѣсть о его прибытіи, какъ электрической
токъ, разнеслась по всѣмъ гаванямъ, моламъ,
пристанямъ и мастерскимъ... Вечеромъ въ
Гамбринусѣ было такъ много народа, что
большинству приходилось стоять, кружки съ
пивомъ передавались изъ рукъ въ руки черезъ
головы, и хотя многіе въ этотъ день ушли, не
плативши, Гамбринусъ торговалъ, какъ ни-
когда. Котельный мастеръ принесъ Сашкину
скрипку, бережно завернутую въ женины
платокъ, который онъ тутъ-же и пропилъ.

Откуда-то раздобыли послѣдняго по времени Сашкинаго аккомпаниатора. Лешка-гармонистъ, человѣкъ самолюбивый и самомнительный, вломился-было въ амбицію.—«Я получаю поденно, и у меня контрактъ!» — твердилъ онъ упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и навѣрно поколотили-бы, если-бы не Сашкино заступничество.

Ужъ навѣрно ни одинъ изъ отечественныхъ героевъ временъ японской войны не видѣлъ такой сердечной и бурной встрѣчи, какую сдѣлали Сашкѣ! Сильныя, корявыя руки подхватывали его, поднимали на воздухъ и съ такой силой подбрасывали вверху, что чуть не расшибли Сашку о потолокъ. И кричали такъ оглушительно, что газовые язычки гасли, а городской нѣсколько разъ заходилъ въ пивную и упрашивалъ, «чтобы потише, потому что на улицѣ очень громко».

Въ этотъ вечеръ Сашка переигралъ всѣ любимыя пѣсни и танцы Гамбринуса. Игралъ онъ также и японскія пѣсенки, заученныя имъ въ плѣну, но онѣ не понравились слушателямъ. Мадамъ Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась надъ своимъ капитанскимъ мостикомъ, а Бѣлка сидѣла у Сашки на колѣняхъ и визжала отъ радости. Случалось, что когда Сашка переставалъ играть, то какой-нибудь простодушный рыболовъ,

только теперь осмыслившій чудо Сашкинаго возвращенія, вдругъ восклицалъ съ наивнымъ и радостнымъ изумленіемъ:

— Братцы, да вѣдь это Сашка!

Густымъ ржаніемъ и веселымъ сквернословіемъ наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали подъ потолокъ, орали, пили, чокались и обливали другъ друга пивомъ.

Сашка, казалось, совсѣмъ не измѣнился и не постарѣлъ за свое отсутствіе: время и бѣдствія такъ-же мало дѣйствовали на его наружность, какъ и на лѣпного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадамъ Иванова съ чуткостью сердечной женщины замѣтила, что изъ глазъ Сашки не только не исчезло выраженіе ужаса и тоски, которые она видѣла въ нихъ при прощаніи, но стало еще глубже и значительнѣе. Сашка попрежнему паясничалъ, подмигивалъ и собиралъ на лбу морщины, но мадамъ Иванова чувствовала, что онъ притворяется.

VII.

Все пошло своимъ порядкомъ, какъ будто вовсе не было ни войны, ни Сашкинскаго плѣненія въ Нагасаки. Такъ-же праздновали

счастливый уловъ бѣлуги и лобана рыбаки въ сапогахъ-великанахъ, такъ-же плясали воровскія подруги, и Сашка попрежнему игралъ матросскія пѣсни, привезенныя изъ всѣхъ гаваней земного шара.

Но уже -близились пестрыя, перемѣнчивыя, бурныя времена. Однажды вечеромъ весь городъ загудѣлъ, заволновался, точно встревоженный набатомъ, и въ необычный часъ не улицахъ стало черно отъ народа. Маленькіе бѣлые листки ходили по рукамъ вмѣстѣ съ чудеснымъ словомъ: «свобода», которое въ этотъ вечеръ безъ числа повторяла вся необъятная, довѣрчивая страна.

Настали какіе-то свѣтлые, праздничные, ликующіе дни, и сіяніе ихъ озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочіе, приходили молодые, красивыя дѣвушки. Люди съ горящими глазами становились на бочки, такъ много видѣвшія на своемъ вѣку, и говорили. Не все было понятно въ этихъ словахъ, но отъ той пламенной надежды и великой любви, которая въ нихъ звучала, трепетало сердце и раскрывалось имъ навстрѣчу.

— Сашка, марсельезу! Ж-жарь! Марсельезу!

Нѣтъ, это было совсѣмъ не похоже на ту марсельезу, которую, скрѣпя сердце, разрѣшилъ играть градоначальникъ въ недѣлю

франко-русскихъ восторговъ. По улицамъ ходили безконечныя процессіи съ красными флагами и пѣніемъ. На женщинахъ алѣли красныя ленточки и красныя цвѣты. Встрѣчались совсѣмъ незнакомые люди и вдругъ, свѣтло улыбнувшись, пожимали руки другъ другу...

Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, какъ слѣды дѣтскихъ ножекъ на морскомъ побережьѣ. Въ Гамбринусъ однажды влетѣлъ помощникъ пристава, толстый, маленькій, задыхающійся, съ выпученными глазами, темно-красный, какъ очень спѣлый томать.

— Что? Кто здѣсь хозяинъ? — хрипѣлъ онъ. — Подавай хозяина!

Онъ увидѣлъ Сашку, стоявшаго со скрипкой.

— Ты хозяинъ? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никакихъ гимновъ!

— Никакихъ гимновъ больше не будетъ, ваше превосходительство, — спокойно отвѣтилъ Сашка.

Полицейскій посизѣлъ, приблизилъ къ самому носу Сашки указательный палецъ, поднятый вверхъ, и грозно покачалъ имъ влѣво и вправо.

— Ник-как-кихъ!

— Слушаю, ваше превосходительство, никакихъ.

— Я вамъ покажу революцію, я вамъ покаж-у-у-у!

Помощникъ пристава, какъ бомба, вылетѣлъ изъ пивной, и съ его уходомъ всѣхъ придавило уныніе.

И на весь городъ спустился мракъ. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили съ осторожностью, боялись выдать себя взглядомъ, пугались своей тѣни, страшились собственныхъ мыслей. Городъ въ первый разъ съ ужасомъ подумалъ о той клоакѣ, которая глухо ворочалась подъ его ногами, тамъ, внизу, у моря, и въ которую онъ такъ много лѣтъ выбрасывалъ свои ядовитыя испражненія. Городъ забивалъ щитами зеркальныя окна своихъ великолѣпныхъ магазиновъ, охранялъ патрулями гордые памятники и разставлялъ на всякій случай по дворахъ прекрасныхъ домовъ артиллерію. А на окраинахъ въ зловонныхъ каморкахъ и на дырявыхъ чердакахъ трепеталъ, молился и плакалъ отъ ужаса избранный народъ Божій, давно покинутый гнѣвнымъ библейскимъ Богомъ, но до сихъ поръ вѣрящій, что мѣра его тяжелыхъ испытаній еще не исполнена.

Внизу, около моря, въ улицахъ, похожихъ на темныя липкія кишки, совершалась тайная

работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаковъ, чайныхъ и ночлежекъ.

Утромъ начался погромъ. Тѣ люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные свѣтомъ грядущаго братства, шли по улицамъ съ пѣніемъ, подъ символами завоеванной свободы, — тѣ-же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что имъ было приказано, и не потому, что они питали вражду противъ евреевъ, съ которыми часто вели тѣсную дружбу, и даже не изъ-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьяволъ, живущій въ каждомъ человѣкѣ, шепталъ имъ на ухо: «Идите. Все будетъ безнаказанно: запретное любопытство убійства, сладострастіе насилія, власть надъ чужой жизнью».

Въ дни погромовъ Сашка свободно ходилъ по городу со своей смѣшной, обезьяньей, чисто-еврейской фізіономіей. Его не трогали. Въ немъ была та непоколебимая душевная смѣлость, та н е б о я з н ѣ б о я з н и, которая охраняетъ даже слабого человѣка лучше всякихъ браунинговъ. Но одинъ разъ, когда онъ, прижатый къ стѣнѣ дома, сторонился отъ толпы, ураганомъ лившейся во всю ширь улицы, какой-то каменщикъ въ красной рубахѣ и бѣломъ фартукѣ замахнулся надъ нимъ и зарычалъ:

— Жи-идъ! Бей жида! Въ кррровъ!

Но кто-то схватилъ его сзади за руку.

— Стой, чортъ, это-же Сашка. Олухъ ты, матери твоей въ сердце, въ печень...

Каменщикъ остановился. Онъ въ эту хмельную, безумную, бредовую секунду готовъ былъ убить кого угодно — отца, сестру, священника, даже самого православнаго Бога, но также былъ готовъ, какъ ребенокъ, послушаться приказанія каждой твердой воли.

Онъ ослабился, какъ идиотъ, сплюнулъ и утеръ носъ рукой. Но вдругъ въ глаза ему бросилась бѣлая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, онъ поймалъ ее за заднія ноги, высоко поднялъ, ударилъ головой о плиты тротуара и побѣждалъ. Сашка молча глядѣлъ на него. Онъ бѣжалъ, весь наклонившись впередъ, съ протянутыми руками, безъ шапки, съ раскрытымъ ртомъ и съ глазами, круглыми и бѣлыми отъ безумія.

На сапоги Сашки брызнулъ мозгъ изъ Бѣлочкиной головы. Сашка отеръ пятно платкомъ.

VIII.

Затѣмъ настало странное время, похожее на сонъ человѣка въ параличѣ. По вечерамъ во всемъ городѣ ни въ одномъ окнѣ не свѣти-

лось огня, но зато ярко горѣли огненные вывѣски кафешантановъ и окна кабачковъ. Побѣдители провѣряли свою власть, еще не насытятся вдоволь безнаказанностью. Какіе-то разнузданные люди въ манчжурскихъ папахъ, съ георгіевскими лентами въ петлицахъ куртокъ, ходили по рестораномъ и съ настойчивой развязностью требовали исполненія народнаго гимна и слѣдили за тѣмъ, чтобы всѣ вставали. Они вламывались также въ частныя квартиры, шарили въ кроватяхъ и комодахъ, требовали водки, денегъ и гимна, и наполняли воздухъ пьяной отрыжкой.

Однажды они вдесятеромъ пришли въ Гамбринусъ и заняли два стола. Они держали себя самымъ вызывающимъ образомъ, повелительно обращались съ прислугой, плевали черезъ плечи незнакомыхъ сосѣдей, клали ноги на чужія сидѣнья, выплескивали на полъ пиво, подъ предлогомъ, что оно несвѣжее. Ихъ никто не трогалъ. Всѣ знали, что это сыщики, и глядѣли на нихъ съ тѣмъ-же тайнымъ ужасомъ и безгловымъ любопытствомъ, съ какимъ простой народъ смотритъ на палачей. Одинъ изъ нихъ явно предводительствовалъ. Это былъ нѣкто Мотыка Гундосый, рыжій, съ перебитымъ носомъ, гнусавый человѣкъ — какъ говорили — большой физической силы, прежде воръ, потомъ вы-

шибала въ публичномъ домѣ, затѣмъ сутенеръ и сыщикъ, крещеный еврей.

Сашка игралъ «Метелицу». Вдругъ Гундосый подошелъ къ нему, крѣпко задержалъ его правую руку и, оборотясь назадъ, на зрителей, крикнулъ:

— Гимнъ! Народный гимнъ! Братцы, въ честь обожаемаго монарха... Гимнъ!

— Гимнъ! Гимнъ! — загудѣли мерзавцы въ папахъ.

— Гимнъ! — крикнулъ вдали одинокій, неувѣренный голосъ.

Но Сашка выдернулъ руку и сказалъ спокойно:

— Никакихъ гимновъ.

— Что? — заревѣлъ Гундосый. — Ты не слушаться? Ахъ, ты, жидъ вонючій!

Сашка наклонился впередъ, совсѣмъ близко къ Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за грифъ, спросилъ:

— А ты?

— Что а я?

— Я жидъ вонючій. Ну хорошо. А ты?

— Я православный.

— Православный? А за сколько?

Весь Гамбринусъ расхохотался, а Гундосый, бѣлый отъ злобы, обернулся къ товарищамъ.

— Братцы! — говорилъ онъ дрожащимъ, плачущимъ голосомъ чьи-то чужія, заученныя слова. — Братцы, доколѣ мы будемъ терпѣть надруганія жидовъ надъ престоломъ и святой церковью?..

Но Сашка, вставъ на своемъ возвышеніи, однимъ звукомъ заставилъ его вновь обернуться къ себѣ, и никто изъ посѣтителей Гамбринуса никогда не повѣрилъ-бы, что этотъ смѣшной, кривляющійся Сашка можетъ говорить такъ вѣско и властно.

— Ты! — крикнулъ Сашка. — Ты, сукинъ сынъ! Покажи мнѣ твое лицо, убійца... Смотри на меня!.. Ну!..

Все произошло быстро, какъ одинъ мигъ. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула въ воздухѣ, и — трахъ! — высокій человѣкъ въ папахѣ качнулся отъ звонкаго удара по виску. Скрипка разлетѣлась въ куски. Въ рукахъ у Сашки остался только грифъ, который онъ побѣдоносно подымалъ надъ головами толпы.

— Братцы-ы, выруча-ай! — заоралъ Гундосый.

Но выручать уже было поздно. Мощная стѣна окружила Сашку и закрыла его. И та же стѣна вынесла людей въ папахѣхъ на улицу.

Но спустя часъ, когда Сашка, окончивъ

свое дѣло, выходилъ изъ пивной на тротуаръ, нѣсколько человѣкъ бросилось на него. Кто-то изъ нихъ ударилъ Сашку въ глазъ, засвистѣлъ и сказалъ подбѣжавшему городовому:

— Въ Бульварный участокъ. По политическому. Вотъ мой значокъ.

IX.

Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненнымъ. Кто-то видѣлъ всю сцену, происшедшую на тротуарѣ около пивной, и передалъ ее другимъ. А въ Гамбринусъ засѣдали опытные люди, которые знали, что такое за учрежденіе Бульварный участокъ и что такое за штука мести сыщиковъ.

Но теперь о Сашкиной судьбѣ гораздо меньше беспокоились, чѣмъ въ первый разъ, и гораздо скорѣе забыли о немъ. Черезъ два мѣсяца на его мѣстѣ сидѣлъ новый скрипачъ (между прочимъ, Сашкинъ ученикъ), котораго разыскалъ аккомпаниаторъ.

И вотъ однажды, спустя мѣсяца три, тихимъ весеннимъ вечеромъ, въ то время, когда музыканты играли вальсъ «Ожиданіе», чей-то тонкій голосъ воскликнулъ испуганно:

— Ребята, Сашка!

Всѣ обернулись и встали съ боченковъ. Да, это былъ онъ, дважды воскресшій Сашка, но теперь обросшій бородой, исхудалый, блѣдный. Къ нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки съ пивомъ. Но внезапно тотъ-же голосъ крикнулъ:

— Братцы, рука-то!..

Всѣ вдругъ замолкли. Лѣвая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтемъ къ боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.

— Что это у тебя, товарищъ? — спросилъ наконецъ волосатый боцманъ изъ Русскаго Общества.

— Э, глупости... тамъ какое-то сухожилие, или что, — отвѣтилъ Сашка безпечно.

— Та-а-къ...

Опять всѣ помолчали.

— Значить, и «Чабану» теперь конецъ? — спросилъ боцманъ участливо.

— «Чабану»? — переспросилъ Сашка, и глаза его заиграли. — Эй, ты! — приказалъ онъ съ обычной увѣренностью аккомпаниатору: — «Чабана»! Ейнъ, цвей, дрей!..

Піанистъ зачистилъ веселую пляску, недовѣрчиво оглядываясь назадъ. Но Сашка здоровой рукой вынулъ изъ кармана какой-то небольшой, въ ладонь величиной, продолго-

ватый черный инструментъ съ отросткомъ, вставилъ этотъ отростокъ въ ротъ и, весь изогнувшись налѣво, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдругъ засвистѣлъ на окаринѣ оглушительно-веселаго «Чабана».

— Хо-хо-хо! — раскатились радостнымъ смѣхомъ зрители.

— Чортъ! — воскликнулъ боцманъ и, совсѣмъ неожиданно для себя самого, сдѣлалъ ловкую выходку и пустился выдѣлывать дробныя колѣнцы. Подхваченные его порывомъ, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, съ улыбкой перебирали на мѣстѣ ногами. Даже мадамъ Иванова, забывъ обязанности капитана на вахтѣ, качала головой въ тактъ огненной пляскѣ и слегка прищелкивала пальцами. И, можетъ быть, даже самъ старый, ноздреватый, источенный временемъ Гамбринусъ пошевеливалъ бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что изъ рукъ изувѣченнаго, скрючившагося Сашки жалкая, наивная свистулька пѣла на языкѣ, къ сожалѣнію, еще непонятномъ ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

— Ничего! Человѣка можно искалѣчить, но искусство все перетерпитъ и все побѣдитъ.

ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ РЫБНИКОВЪ.

1.

Въ тотъ день, когда ужасный разгромъ русскаго флота у о. Цусима приближался къ концу, и когда объ этомъ кровавомъ торжествѣ японцевъ проносились по Европѣ лишь первыя, тревожныя, глухія вѣсти, — въ этотъ самый день штабсъ-капитанъ Рыбниковъ, жившій въ безыменномъ переулкѣ на Пескахъ, получилъ слѣдующую телеграмму изъ Иркутска:

«Вышлите немедленно листы слѣдите за больнымъ уплатите расходы».

Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ тотчасъ-же заявилъ своей квартирной хозяйкѣ, что дѣла вызываютъ его на день — на два изъ Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствіемъ. Затѣмъ онъ одѣлся, вышелъ изъ дому и больше ужъ никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали въ полицію для снятія показаній объ ея пропавшемъ жильцѣ. Честная, толстая, сорокапятилѣтняя женщина, вдова консistorскаго чиновника, чистосердечно рассказала

все, что ей было извѣстно: жилецъ ея былъ человѣкъ тихій, бѣдный, глуповатый, умѣренный въ ѣдѣ, вѣжливый; не пилъ, не курилъ, рѣдко выходилъ изъ дому и у себя никого не принималъ.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужасъ передъ жандармскимъ ротмистромъ, который звѣрски шевелилъ пышными подусниками и за сквернымъ словомъ въ карманъ не лазилъ.

Въ этотъ-то пятидневный промежутокъ времени штабс-капитанъ Рыбниковъ объѣгалъ и объѣздилъ весь Петербургъ. Повсюду: на улицахъ, въ ресторанахъ, въ театрахъ, въ вагонахъ конокъ, на вокзалахъ появлялся этотъ маленькій, черномазый, хромоу офицеръ, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одѣтый въ обще-армейскій мундиръ со сплошь краснымъ воротникомъ — настоящій типъ госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Онъ являлся также по нѣскольку разъ въ главный штабъ, въ комитетъ о раненыхъ, въ полицейскіе участки, въ комендантское управленіе, въ управленіе казачьихъ войскъ и еще въ десятки присутственныхъ мѣстъ и управленій, раздражая служащихъ своими безтолковыми жалобами и претензіями, своимъ унижительнымъ попрошайничествомъ, армейской

грубостью и крикливымъ патріотизмомъ. Всѣ уже знали наизусть, что онъ служилъ въ корпусномъ обозѣ, подъ Ляояномъ контужень въ голову, а при Мукденскомъ отступленіи ранень въ ногу. Почему онъ, чортъ меня возьми, до сихъ поръ не получаетъ пособія?! Отчего ему не выдаютъ до сихъ поръ суточныхъ и прогонныхъ? А жалованье за два прошлыхъ мѣсяца? Абсолютно онъ готовъ пролить послѣднюю, чортъ ее поberi, каплю крови за царя, престолъ и отечество, и онъ сейчасъ же вернется на Дальній Востокъ, какъ только заживетъ его раненая нога. Но — сто чертей! — проклятая нога не хочетъ заживать... Вообразите себѣ — нагноеніе! Да вотъ, посмотрите сами. — И онъ ставилъ больную ногу на стулъ и уже съ готовностью засучивалъ кверху панталоны, но всякій разъ его останавливали съ безгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая съ наглостью, его глупость и привязчивое, праздное любопытство выводили изъ себя людей, занятыхъ важной и страшно отвѣтственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что онъ обращается въ неподлежащее мѣсто, что ему надобно направиться туда-то, что слѣдуетъ представить такіа-то

бумаги, что его извѣстятъ о результатѣ — онъ ничего, рѣшительно ничего не понималъ. Но и очень сердиться на него было невозможно: такъ онъ былъ беззащитенъ, пугливъ и наивенъ, и, если его съ досадой обрывали, онъ только улыбался, обнажая десны съ идиотскимъ видомъ, торопливо и многократно кланялся и потиралъ смущенно руки. Или вдругъ произносилъ заискивающимъ хриплымъ голосомъ:

— Пожалуйста... не одолжите-ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папиросъ купить не на что. Яко нагъ, яко благъ... Бѣдность, какъ говорится, не порокъ, но большое свинство.

Этимъ онъ обезоруживалъ самыхъ придирчивыхъ и мрачныхъ чиновниковъ. Ему давали папироску и позволяли присѣсть у краешка стола. Противъ воли и, конечно, небрежно ему даже отвѣчали на его назойливые разспросы о теченіи военныхъ событій. Было, впрочемъ, много трогательнаго, дѣтски-искренняго въ томъ болѣзненномъ любопытствѣ, съ которымъ этотъ несчастный, замурзанный, обнищавшій раненый армеецъ слѣдитъ за войной. Просто-напросто, по-человѣчеству, хотѣлось его успокоить, освѣдомить и одобрить, и оттого съ нимъ говорили откровеннѣе, чѣмъ съ другими.

Интересъ его ко всему, что касалось русско-японскихъ событій, простирался до того, что въ то время, когда для него наводили какую-нибудь путанную дѣловую справку, онъ слонялся изъ комнаты въ комнату, отъ стола къ столу, и какъ только улавливалъ гдѣ-нибудь два слова о войнѣ, то сейчасъ-же подходилъ и прислушивался съ своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда онъ наконецъ уходилъ, то оставлялъ по себѣ вмѣстѣ съ чувствомъ облегченія какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожалѣніе. Нерѣдко чистенькіе, выхоленные штабные офицеры говорили о немъ съ благородной горечью:

— И это русскіе офицеры! Посмотрите на этотъ типъ. Ну, развѣ не ясно, почему мы проигрываемъ сраженіе за сраженіемъ? Тупость, безтолковость, полное отсутствіе чувства собственнаго достоинства... Бѣдная Россія!...

Въ эти хлопотливые дни штабсъ-капитанъ Рыбниковъ нанялъ себѣ номеръ въ грязноватой гостиницѣ близъ вокзала. Хотя при немъ и былъ собственный паспортъ запаснаго офицера, но онъ почему-то нашелъ нужнымъ заявить, что его бумаги находятся пока въ комендантскомъ управленіи. Сюда-же въ гостиницу онъ перевезъ и свои вещи — портъ-

пледъ съ одѣяломъ и подушкой, дорожный несессеръ и дешевый новенькій чемоданъ, въ которомъ было бѣлье и полный комплектъ штатскаго платья.

Впослѣдствіи прислуга показывала, что приходилъ онъ въ гостиницу поздно и какъ будто подъ хмелькомъ, но всегда аккуратно давалъ швейцару, отворявшему двери, гривенникъ на чай. Спалъ не болѣе трехъ-четыре-хъ часовъ, иногда совсѣмъ не раздѣваясь. Вставалъ рано, и долго, часами, ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Въ полдень уходилъ.

Время отъ времени штабсъ-капитанъ изъ разныхъ почтовыхъ отдѣленій посылалъ телеграммы въ Иркутскъ, и всѣ эти телеграммы выражали глубокую заботливость о какомъ-то раненомъ, тяжело-больномъ человѣкѣ, вѣроятно, очень близкомъ сердцу штабсъ-капитана.

И вотъ съ этимъ-то суетливымъ, смѣшнымъ и несуразнымъ человѣкомъ встрѣтился однажды фельетонистъ большой петербургской газеты, Владимиръ Ивановичъ Щавинскій.

II.

Передъ тѣмъ, какъ ѣхать на бѣга, Щавинскій завернулъ въ маленькій, темный ресторанчикъ «Слава Петрограда», гдѣ обыкновен-

но собирались къ двумъ часамъ дня, для обмѣна мыслями и свѣдѣніями, газетные репортеры. Это была довольно безпардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компанія, и Щавинскій, до извѣстной степени аристократъ газетнаго міра, къ ней, конечно, не принадлежалъ. Его воскресные фельетоны, блестящіе и забавные, но не глубокіе, имѣли значительный успѣхъ въ публикѣ. Онъ зарабатывалъ большія деньги, отлично одѣвался и велъ широкое знакомство. Но его хорошо принимали и въ «Славѣ Петрограда» за его развязный, острый языкъ и за милую щедрость, съ которой онъ ссужалъ братьевъ-писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обѣщали достать для него бѣговую программу съ таинственными помѣтками изъ конюшни.

Швейцаръ Василій, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снялъ съ Щавинскаго пальто.

— Пожалуйте, Владимиръ Ивановичъ, всѣ въ сборѣ-съ. Въ большомъ кабинетѣ у Прохора.

И толстый, низко-стриженный рыжеусый Прохоръ также фамиллярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновенію, не въ глаза, а поверхъ лба почетному посѣтителю.

— Давненько не изволили бывать, Владимиръ Ивановичъ. Пожалуйте-съ. Все свои-съ.

Какъ и всегда, братья-писатели сидѣли вокругъ длиннаго стола и, торопливо макая перья въ одну чернильницу, быстро строчили на длинныхъ полосахъ бумаги. Въ то-же время они успѣвали, не прекращая этого занятія, поглощать растегаи и жареную колбасу съ картофельнымъ пюре, пить водку и пиво, курить и обмѣниваться свѣжими городскими новостями и редакціонными сплетнями, не подлежащими тисненію. Кто-то спалъ камнемъ на диванѣ, постеливъ на валикъ носовой платокъ. Воздухъ въ кабинетъ былъ синій, густой и слоистый отъ табачнаго дыма.

Здороваясь съ репортерами, Щавинскій замѣтилъ среди нихъ штабс-капитана въ общедармейскомъ мундирѣ. Онъ сидѣлъ, разставивъ врозь ноги, опираясь руками и подбородкомъ на эфесъ огромной шашки. Увидѣвъ его, Щавинскій не удивился, какъ привыкъ ничему не удивляться въ жизни репортеровъ. Онъ бывалъ свидѣтелемъ, что въ этой путаной безшабашной компаніи пропадали по цѣлымъ недѣлямъ: тамбовскіе помѣщики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, протодіаконы, актеры, хозяева звѣринцевъ, цыгане, рыбные торговцы, распорядители кафе-шантановъ,

клубные игроки и другія лица самыхъ неожиданныхъ профессій.

Когда дошла очередь до офицера, тотъ всталъ, приподнялъ плечи, оттопыривъ локти, и отрекомендовался хриплымъ, настоящимъ армейскимъ, пропойнымъ голосомъ:

— Хемм!.. Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ. Очень пріятно. Вы тоже писатель? Очень, очень пріятно. Уважаю пишущую братію. Печать — шестая великая держава. Что? Неправда?

При этомъ онъ осклаблялся, щелкалъ каблуками, крѣпко трясъ руку Щавинскаго и все время какъ-то особенно смѣшно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тѣла.

«Гдѣ я его видѣлъ? — мелькнула у Щавинскаго безпокойная мысль. — Удивительно кого-то напоминаетъ. Кого?»

Здѣсь въ кабинетѣ были всѣ знаменитости петербургскаго репортажа. Три мушкетера — Кодлубцевъ, Ряжкинъ и Поповъ. Ихъ никогда не видали иначе, какъ вмѣстѣ, даже ихъ фамиліи, произнесенныя рядомъ, особенно ловко укладывались въ четырехстопный ямбъ. Это не мѣшало имъ постоянно ссориться и выдумывать другъ про друга случаи невѣроятныхъ вымогательствъ, уголовныхъ подлоговъ, клеветы и шантажа. Присутствовалъ также Сер-

гѣй Кондрашовъ, котораго за его необузданное сладострастіе называли «не человѣкъ, а патологическій случай». Былъ нѣкто, чья фамилія стерлась отъ времени, какъ одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», подъ которой его зналъ весь Петербургъ. Про мрачнаго Свищева, писавшаго фельетончики «По камерамъ мировыхъ судей», говорили въ видѣ дружеской шутки: «Свищевъ крупный шантажистъ, онъ меньше трехъ рублей не беретъ». Спавшій же на диванѣ длинноволосый поэтъ Пеструхинъ поддерживалъ свое утлое и пьяное существованіе тѣмъ, что воспѣвалъ въ лирическихъ стихахъ царскіе дни и двенадцатые праздники. Были и другія, не менѣе крупныя имена: спеціалисты по городскимъ дѣламъ, по пожарамъ, по трупамъ, по открытіямъ и закрытіямъ садовъ.

Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказалъ:

— Программу вамъ сейчасъ принесутъ, Владимиръ Ивановичъ. А покамѣстъ рекомендую вашему вниманію храбраго штабс-капитана. Только-что вернулся съ Дальняго Востока, гдѣ, можно сказать, разбивалъ въ пухъ и прахъ желтолицаго, косоглазаго и коварнаго врага. Ну-съ, генераль, валяйте дальше.

Офицеръ прокашлялся и сплюнулъ вбокъ, на полъ.

«Хамъ!» — подумалъ Щавинскій, поморщившись.

— Русскій солдатъ это, братъ, не фунтъ изюму! — воскликнулъ хрипло Рыбниковъ, громыхая шашкой. — Чудо-богатыри, какъ говорилъ бессмертный Суворовъ. Что? Не правду я говорю? Однимъ словомъ... Но скажу вамъ откровенно: начальство наше на Востокъ не годится ни къ чорту! Знаете извѣстную нашу поговорку: каковъ попъ, таковъ приходъ. Что? Не вѣрно? Воруютъ, играютъ въ карты, завели любовницъ... А вѣдь извѣстно: гдѣ чортъ не поможетъ, бабу пошлетъ.

— Вы, генераль, что-то о съемкахъ начали, — напомнилъ Матаня.

— Ага, о съемкахъ. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнулъ я сегодня. — Рыбниковъ метнулъ быстрый, острый взглядъ на Щавинскаго. — Да, такъ вотъ-съ... Назначили одного полковника генеральнаго штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Береть онъ съ собой взводъ казаковъ — лихое войско, чортъ его побери... Что? Не правда?.. Береть онъ переводчика и ѣдетъ. Попадаетъ въ деревню. — «Какъ названіе?» Переводчикъ молчитъ. «А ну-ка, ребяташки!» Казаки его сейчасъ нагайками. Переводчикъ говорить:

«Бутунду». А «бутунду» по-китайски значить: «не понимаю». — «Ага, заговорилъ, сукинъ сынъ!» И полковникъ пишетъ на кроки: «Деревня «Бутунду». Опять ѣдутъ — опять деревня. «Названіе?» — «Бутунду». — «Какъ? Еще Бутунду?» — «Бутунду». Полковникъ опять пишетъ: «Бутунду». Такъ онъ десять деревень назваль «Бутунду», и вышелъ онъ, какъ у Чехова: «Хоть ты, говорить — Ивановъ седьмой, а все-таки дуракъ!»

— А-а! Вы знаете Чехова? — спросилъ Щавинскій.

— Кого? Чехова? Антошу? Еще-бы, чортъ побери!.. Друзья! Пили мы съ нимъ здорово... Хоть ты, говорить, и седьмой, а все-таки дуракъ...

— Вы съ нимъ тамъ на Востокъ видѣлись? — быстро спросилъ Щавинскій.

— Какъ-же, обязательно на Востокъ. Мы, братъ, бывало, съ Антонъ Петровичемъ... Хоть ты и седьмой, а...

Пока онъ говорилъ, Щавинскій внимательно наблюдалъ за нимъ. Все у него было обычное, чисто-армейское: голосъ, манеры, поношенный мундиръ, бѣдный и грубый языкъ. Щавинскому приходилось видѣть сотни такихъ забулдыгъ-капитановъ, какъ онъ. Также они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влѣво и вправо молодцоватыми дви-

женіями, такъ-же вздергивали вверхъ плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было въ немъ и что-то совсѣмъ особенное, затаенное, чего Щавинскій никогда не видалъ и не могъ опредѣлить — какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинскій вовсе не удивился-бы, если-бы вдругъ этотъ хрипящій и пьяный бурбонъ заговорилъ о тонкихъ и умныхъ вещахъ, непринужденно и ясно, изящнымъ языкомъ, но не удивился-бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходкѣ со стороны штабс-капитана.

Въ лицѣ его поражало Щавинскаго то разное впечатлѣніе, которое производили его фасъ и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лобъ подъ уходящимъ вверхъ черепомъ, русскій безформенный носъ сливой, рѣдкіе, жесткіе, черные волосы въ усахъ и на бороденкѣ, голова, коротко остриженная, съ сильной просѣдью, тонъ лица темно-желтый отъ загара... Но, поворачиваясь лицомъ къ Щавинскому, онъ сейчасъ-же начиналъ ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никакъ нельзя было ухватить, чувствовалось въ этихъ узенькихъ, зоркихъ, ярко-кофейныхъ глазкахъ съ разрѣзомъ

наискось, въ тревожномъ изгибѣ черныхъ бровей, идущихъ отъ переносья кверху, въ энергичной сухости кожи, крѣпко обтягивавшей мощныя скулы, а главное, въ общемъ выраженіи этого лица — злобнаго, насмѣшливаго, умнаго, пожалуй, даже высокомернаго, но не человѣческаго, а скорѣе звѣринаго, а еще вѣрнѣе — лица, принадлежащаго существу съ другой планеты.

«Точно я его во снѣ видѣлъ», — подумалъ Щавинскій.

Всматриваясь, онъ невольно прищурился и наклонилъ голову набокъ.

Рыбниковъ тотчасъ-же повернулся къ нему и захохоталъ нервно и громко:

— Что вы на меня любуетесь, господинъ писатель? Интересно? Я, — онъ возвысилъ голосъ и съ смѣшной гордостью ударилъ себя кулакомъ въ грудь. — Я штабсъ-капитанъ Рыбниковъ. Рыб-ни-ковъ! Православный русскій воинъ, не считая, бьетъ враговъ. Такая есть солдатская русская пѣсня. Что? Невѣрно?

Кодлубцевъ, бѣгая перомъ по бумагѣ и не глядя на Рыбникова, бросилъ небрежно:

— И не считаясь, сдается въ плѣнъ.

Рыбниковъ быстро бросилъ взглядъ на Кодлубцева, и Щавинскій замѣтилъ, какъ въ его коричневыхъ глазахъ блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на

мгновеніе. Тотчасъ же штабсъ-капитанъ захохоталъ, развелъ руками и звонко хлопнулъ себя по ляжкамъ.

— Ничего не подѣлаешь — Божья воля. Недаромъ говорится въ пословицѣ: нашла коса на камень. Что? Не вѣрно? — Онъ обратился вдругъ къ Щавинскому, слегка потрепалъ его рукою по колѣну и издалъ губами безнадежный звукъ: фить! — Мы все авось, да кое-какъ, да какъ-нибудь — тяпъ да ляпъ. Къ мѣстности не умѣемъ примѣняться, снаряды не подходятъ къ калибрамъ орудій, люди на позиціяхъ по четверо сутокъ не ѣдятъ. А японцы, чортъ-бы ихъ побралъ, работаютъ, какъ машины. Макаки, а на ихъ сторонѣ цивилизація, чортъ-бы ихъ бралъ! Что? Не вѣрно я говорю?

— Такъ что они, по-вашему, пожалуй, насъ и побѣдятъ? — спросилъ Щавинскій.

У Рыбникова опять задержались губы. Эту привычку уже успѣлъ за нимъ замѣтить Щавинскій. Во все время разговора, особенно когда штабсъ-капитанъ задавалъ вопросъ и, насторожившись, ждалъ отвѣта, или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взглядъ, губы у него быстро дергались то въ одну, то въ другую сторону въ странныхъ гримасахъ, похожихъ на судорожныя злобныя улыбки. И въ то-же время онъ торопливо обли-

зывать концомъ языка свои потрескавшіяся сухія губы, тонкія, синеватыя, какія-то обезьяньи или козлиныя губы.

— Кто знаетъ! — воскликнулъ штабсь-капитанъ. — Одинъ Богъ. Безъ Бога ни до порога, какъ говорится. Что? Не вѣрно? Кампанія еще не кончена. Все впереди. Русскій солдатъ привыкъ къ побѣдамъ. Вспомните Полтаву, незабвеннаго Суворова... А Севастополь! А какъ въ двѣнадцатомъ году мы прогнали величайшаго въ мірѣ полководца Наполеона. Великъ Богъ земли русской! Что?

Онъ заговорилъ, а углы его губъ дергались странными, злыми, насмѣшливыми, нечеловѣческими улыбками, и зловѣщій желтый блескъ игралъ въ его глазахъ подъ черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли въ это время кофе.

— Не хтите-ли рюмочку коньяку? — предложилъ онъ штабсь-капитану.

Рыбниковъ опять слегка похлопалъ его по колѣну.

— Нѣтъ, спасибо, голубчикъ. Я сегодня чортъ знаетъ сколько выпилъ. Башка трещить. Съ утра, чортъ возьми, наклюкался. Веселіе Руси есть пити. Что? Не правда? — воскликнулъ онъ вдругъ съ лихимъ видомъ и внезапно пьянымъ голосомъ.

«Притворяется», — подумалъ Щавинскій.

Но почему-то онъ не хотѣлъ отстать и продолжалъ угощать штабсъ-капитана.

— Можетъ-быть, пива? Краснаго вина?

— Нѣтъ, покорно благодарю. И такъ пьянъ. Грань мерси.

— Сельтерской воды?

Штабсъ-капитанъ оживился

— Ахъ, да, да! Вотъ именно... именно сельтерской... стаканчикъ не откажусь.

Принесли сифонъ. Рыбниковъ выпилъ стаканъ большими, жадными глотками. Даже руки у него задрожали отъ жадности. И тотчасъ-же налилъ себѣ другой стаканъ. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.

«Притворяется, — опять подумалъ Щавинскій. — Что за диковинный человѣкъ! Онъ недоволенъ, утомленъ, но ничуть не пьянъ».

— Жара, чортъ ее побери, — сказалъ Рыбниковъ хрипло. — Однако я, господа, кажется, мѣшаю вамъ заниматься.

— Нѣтъ, ничего. Мы привыкли, — пробурчалъ Ряжкинъ.

— А что, нѣтъ-ли у васъ какихъ-нибудь свѣжихъ извѣстій съ войны? — спросилъ Рыбниковъ. — Эхъ, господа! — воскликнулъ онъ вдругъ и гроыхнулъ шашкой. — Сколько-бы могъ я вамъ дать интереснаго матеріала о войнѣ! Хотите, я вамъ буду диктовать, а вы только пишете. Вы только пишете. Такъ и

озаглавьте: — «Воспоминанія штабс-капитана Рыбникова, вернувшагося съ войны». Нѣтъ, вы не думайте — я безъ денегъ, я задаромъ, задаромъ. Какъ вы думаете, господа писатели?

— Что-жъ, это можно, — вяло отозвался Матаня: — какъ-нибудь устроимъ вамъ интервьюшку... Послушайте, Владимиръ Ивановичъ, вы ничего не знаете о нашемъ флотѣ?

— Нѣтъ, ничего. а развѣ что есть?

— Рассказываютъ что-то невозможное. Кондрашовъ слышалъ отъ знакомаго изъ морского штаба. Эй! Патологическій случай, расскажи Щавинскому!

«Патологическій случай», человѣкъ съ черной трагической бородой и изжеваннымъ лицомъ, сказалъ въ носъ:

— Я не могу, Владимиръ Ивановичъ, ручаться. Но источникъ какъ будто достовѣрный. Въ штабѣ ходитъ темный слухъ, что большая часть нашей эскадры сдалась безъ боя. Что будто-бы матросы перевязали офицеровъ и выкинули бѣлый флагъ. Чуть-ли не двадцать судовъ.

— Это, дѣйствительно, ужасно, — тихо произнесъ Щавинскій. — Можетъ быть, еще неправда? Впрочемъ, теперь такое время, что самое невозможное стало возможнымъ. Кстати, вы знаете, что дѣлается въ морскихъ портахъ? Во всѣхъ экипажахъ идетъ страш-

ное, глухое броженіе. Морскіе офицеры на берегу боятся встрѣчаться съ людьми своей команды.

Разговоръ сталъ общимъ. Эта проницательная, вездѣсушая, циничная компанія была своего рода чувствительнымъ пріемникомъ для всевозможныхъ городскихъ слуховъ и толковъ, которые часто доходили раньше до отдѣльнаго кабинета «Славы Петрограда», чѣмъ до министерскихъ кабинетовъ. У каждого были свои новости. Это было такъ интересно, что даже три мушкетера, для которыхъ, казалось, ничего не было на свѣтѣ святого и значительнаго, заговорили съ непривычной горячностью.

— Носятся слухи о томъ, что въ тылу арміи запасные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стрѣляютъ въ офицеровъ изъ ихъ-же собственныхъ револьверовъ.

— Я слышалъ, что главнокомандующій повѣсилъ пятьдесятъ сестеръ милосердія. Ну, конечно, онѣ были только подъ видомъ сестеръ.

Щавинскій оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабсъ-капитанъ молчалъ. Сузивъ глаза, налегши грудью на эфесъ шашки, онъ напряженно слѣдилъ поочередно за каждымъ изъ говорившихъ, и на его скулахъ подъ натянутой кожей быстро двигались су-

хожилія, а губы шевелились, точно онъ повторялъ про себя каждое слово.

«Господи, да кого-же наконецъ онъ напоминаетъ?» — въ десятый разъ съ нетерпѣніемъ подумаль фельетонистъ.

Это такъ мучило его, что онъ пробоваль прибѣгнуть къ старому знакомому средству: притвориться предъ самимъ собой, что онъ какъ будто совсѣмъ забыль о штабсъ-капитанѣ, и потомъ вдругъ внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой пріемъ довольно быстро помогаль ему вспомнить фамилію или мѣсто встрѣчи, но теперь онъ оказывался совсѣмъ недѣйствительнымъ.

Подъ его упорнымъ взглядомъ, Рыбниковъ опять обернулся, глубоко вздохнулъ и съ сокрушеніемъ покрутилъ головой.

— Ужасное извѣстіе. Вы вѣрите? Что? Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, какъ мы, русскіе, говоримъ: Богъ не выдасть, свинья не съѣсть. То-есть я хочу сказать, что свинья — это, конечно, японцы.

Теперь онъ упорно выдерживаль пристальный взглядъ Щавинскаго, и въ его рыжихъ звѣриныхъ глазахъ фельетонистъ увидѣль пламя непримиримой, нечеловѣческой ненависти.

Въ эту минуту спавшій на диванѣ поэтъ Пеструхинъ вдругъ приподнялся, почмокаль

губами и уставился мутнымъ взглядомъ на офицера.

— А, японская морда, ты еще здѣсь? — сказалъ онъ пьянымъ голосомъ, едва шевеля ртомъ: — поговори у меня еще!

И опять упалъ на диванъ, перевернувшись на другой бокъ.

«Японецъ! — подумалъ съ жуткимъ любопытствомъ Щавинскій. — Вотъ онъ на кого похожъ». — И Щавинскій сказалъ протяжно, съ многозначительной вѣскостью:

— Однако вы фру-уктъ, господинъ штабс-капитанъ!

— Я? — закричалъ тотъ. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. — Я — штабс-капитанъ Рыбниковъ! — Онъ опять со смѣшной гордостью стукнулъ себя кулакомъ по груди. — Мое русское сердце болитъ. Позвольте пожать вашу правую руку. Я подъ Ляояномъ контуженъ въ голову, а подъ Мукденомъ раненъ въ ногу. Что? Вы не вѣрите? Вотъ я вамъ сейчасъ покажу.

Онъ поставилъ ногу на стулъ и сталъ засучивать кверху свои панталоны.

— Ну васъ, бросьте, штабс-капитанъ. Вѣримъ, — сказалъ, морщась, Щавинскій.

Но тѣмъ не менѣе изъ привычнаго любопытства онъ успѣлъ быстро взглянуть на ногу Рыбникова и замѣтить, что этотъ штабс-

капитанъ армейской пѣхоты носить нижнее бѣлье изъ прекраснаго шелковаго трико.

Въ это время въ кабинетъ вошелъ посыльный съ письмомъ къ Матанѣ.

— Это для васъ, Владимиръ Ивановичъ, — сказалъ Матаня, разорвавъ конвертъ. — Программа изъ конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, одинъ билетъ въ двойномъ на Зенита. Я вамъ во вторникъ отдамъ.

— Поѣдемте со мной на бѣга, капитанъ? — предложилъ Щавинскій.

— Куда? На бѣга? Съ моимъ удовольствіемъ. — Рыбниковъ шумно всталъ, опрокинувъ стулъ. — Это гдѣ лошади скачутъ? Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ куда угодно. Въ бой, въ строй, къ чортовой матери! Ха-ха-ха! Вотъ каковъ. Что? Не правда?

Когда они уже сидѣли на извозчикѣ и ѣхали по Кабинетской улицѣ, Щавинскій продѣлъ свою руку подъ руку офицера, нагнулся къ самому его уху и сказалъ чуть слышно:

— Не бойтесь, я васъ не выдамъ. Вы такой же Рыбниковъ, какъ я Вандербильтъ. Вы офицеръ японскаго генеральнаго штаба, думаю, не меньше, чѣмъ въ чинѣ полковника, и теперь — военный агентъ въ Россіи...

Но Рыбниковъ не слышалъ его словъ за

шумомъ колезъ или не понялъ его. Покачиваясь слегка изъ стороны въ сторону, онъ говорилъ хрипло съ новымъ пьянымъ восторгомъ:

— З-значить, мы съ вами з-закутили! Люблю, чортъ! Не будь я штабсъ-капитанъ Рыбниковъ, русскій солдатъ, если я не люблю русскихъ писателей! Славный народъ! Здорово пьютъ и знаютъ жизнь насквозь. Веселіе Руси есть пити. А я, братъ, здорово съ утра дерябнулъ.

III.

Щавинскій — и по роду его занятія и по склонностямъ натуры — былъ собирателемъ человѣческихъ документовъ, коллекціонеромъ рѣдкихъ и странныхъ проявленій человѣческаго духа. Нерѣдко въ продолженіи недѣль, иногда цѣлыхъ мѣсяцевъ, наблюдалъ онъ за интереснымъ субъектомъ, выслѣживая его съ упорствомъ страстнаго охотника или добровольнаго сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выраженію, какой-нибудь «рыцарь изъ-подъ темной звѣзды» — шуллеръ, извѣстный плагиаторъ, сводникъ, альфонсъ, графоманъ — ужасъ всѣхъ редакцій, зарвавшійся кассиръ или артельщикъ, тратящій по ресторанамъ, скач-

камъ и игорнымъ заламъ казенныя деньги съ безуміемъ человѣка, несущагося въ пропасть; но бывали также предметами его спортивнаго увлеченія знаменитости сезона — піанисты, пѣвцы, литераторы, чрезмѣрно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящія въ моду кокотки. Добившись во что-бы то ни стало знакомства, Щавинскій мягко и любовно, съ какой-то обволакивающей паучьей манерой овладѣвалъ вниманіемъ своей жертвы. Здѣсь онъ шелъ на все: просиживалъ цѣлыми ночами безъ сна съ пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багажъ которыхъ составлялъ — точно у бушменовъ — десятокъ-другой зоологическихъ понятій и шаблонныхъ фразъ; онъ поилъ въ ресторанахъ отъявленныхъ дураковъ и негодяевъ, терпѣливо выжидая, пока въ опьянѣніи они не распустятъ пышнымъ махровымъ цвѣтомъ своего уродства; льстилъ людямъ наобумъ, съ ясными глазами, въ чудовищныхъ дозахъ, твердо вѣря въ то, что лесть — ключъ ко всѣмъ замкамъ; щедро раздавалъ займы, деньги, зная заранѣе, что никогда ихъ не получитъ назадъ. Въ оправданіе скользкости этого спорта онъ могъ-бы сказать, что внутренній психологическій интересъ значительно превосходилъ въ немъ тѣ выгоды, которыя онъ потомъ пріобрѣталъ въ качествѣ бытописателя. Ему доставляло странное, очень

смутное для него самого наслажденіе проникнуть въ тайныя, недопускаемыя комнаты человѣческой души, увидѣть скрытыя, иногда мелочныя, иногда позорныя, чаще смѣшныя, чѣмъ трогательныя, пружины внѣшнихъ дѣйствій — такъ сказать, поддержать въ рукахъ живое, горячее человѣческое сердце и ощутить его біеніе. Часто при этой пытливой работѣ ему казалось, что онъ утрачиваетъ совершенно свое «я», до такой степени онъ начиналъ думать и чувствовать душою другого человѣка, даже говорить его языкомъ и характерными словечками, наконецъ онъ даже ловилъ себя на томъ, что употребляетъ чужіе жесты и чужія интонаціи. Но, насытившись человѣкомъ, онъ бросалъ его. Правда, иногда за минуту увлеченія приходилось расплачиваться долго и тяжело.

Но ужъ давно никто такъ глубоко, до волненія, не интересовалъ его, какъ этотъ растерзанный, хриплый, пьяноватый обще-армейскій штабсъ-капитанъ. Цѣлый день Щавинскій не отпускалъ его отъ себя. Порою, сидя бокъ-о-бокъ съ нимъ на извозчикѣ и незамѣтно наблюдая его, Щавинскій думалъ рѣшительно:

«Нѣтъ, не можетъ быть, чтобы я ошибался, — это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткіе поклоны и потираніе рукъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ эта напряженная,

нервная, жуткая развязность... Но если все это правда, и штабс-капитанъ Рыбниковъ дѣйствительно японскій шпионъ, то какимъ невообразимымъ присутствіемъ духа долженъ обладать этотъ человѣкъ, разыгрывающій съ великолѣпной дерзостью среди бѣла дня, въ столицѣ враждебной націи, такую злую и вѣрную карикатуру на русскаго забубеннаго армейца! Какія страшныя ощущенія долженъ онъ испытывать, балансируя весь день, каждую минуту, надъ почти неизбѣжной смертью.

Здѣсь была совсѣмъ уже непонятная для Щавинскаго очаровательная, безумная и въ то-же время холодная отвага, былъ, можетъ-быть, высшій изъ всѣхъ видовъ патріотическаго героизма. И острое любопытство вмѣстѣ съ какимъ-то почтительнымъ ужасомъ все сильнѣе притягивали умъ фельетониста къ душѣ этого диковиннаго штабс-капитана.

Но иногда онъ мысленно одергивалъ себя:

«А что, если я самъ себѣ навязалъ смѣшную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцевѣдецъ, самъ себя одурачилъ просто-напросто закутившимъ гоголевскимъ капитаномъ Копейкинымъ? Вѣдь на Уралѣ и среди оренбургскаго казачества много именно такихъ монгольскихъ шафранныхъ лицъ». И тогда онъ еще внимательнѣе приглядывался къ каждому жесту и выраженію фізіономіи

штабсъ-капитана, чутко прислушивался къ звукамъ его голоса.

Рыбниковъ не пропускалъ ни одного солдата, отдававшего ему честь, и самъ прикладывалъ руку къ козырьку фуражки съ особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проѣзжали мимо церквей, онъ неизмѣнно снималъ шапку и крестился широко и аккуратно, и при этомъ чуть-чуть косилъ глазомъ на своего сосѣда — видитъ тотъ или нѣтъ?

Однажды Щавинскій не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Однако вы набожны, капитанъ.

Рыбниковъ развелъ руками, комично ушелъ головой въ поднятыя плечи и захрипѣлъ:

— Ничего не подѣлаешь, батенька. Привыкъ въ бояхъ. Кто на войнѣ не былъ, Богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка. Тамъ, голубчикъ, поневолѣ научишься молиться. Бывало, идешь на позицію — пули визжать, шрапнель, гранаты... эти самыя проклятыя шимозы... но ничего не подѣлаешь — долгъ, присяга — идешь! А самъ читаешь про себя: «Отче нашъ, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да пріидеть царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси...»

И онъ дочиталъ до самаго конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звукъ.

«Шпіонъ!» — рѣшилъ Щавинскій.

Но онъ не хотѣлъ оставить свое подозрѣніе на половинѣ. Нѣсколько часовъ подъ рядъ онъ продолжалъ испытывать и терзать штабс-капитана. Въ отдѣльномъ кабинетѣ, за обѣдомъ, онъ говорилъ, нагибаясь черезъ столъ за стаканомъ вина и глядя Рыбникову въ самые зрачки:

— Слушайте, капитанъ, теперь насъ никто не слышитъ, и... я не знаю, какое вамъ дать честное слово, что никто въ мірѣ не узнаетъ о нашемъ разговорѣ. Я совсѣмъ безповоротно, я глубоко убѣжденъ, что вы — японецъ.

Рыбниковъ опять хлопнулъ себя по груди кулакомъ.

— Я штабсъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, оставимъ эти выходки. Своего лица вы не спрячете, какъ вы ни умны. Очертаніе скулъ, разрѣзъ глазъ, этотъ характерный черепъ, цвѣтъ кожи, рѣдкая и жесткая растительность на лицѣ, все, все несомнѣнно указываетъ на вашу принадлежность къ желтой расѣ. Но вы въ безопасности. Я не донесу на васъ, что-бы мнѣ за это ни обѣщали, чѣмъ-бы мнѣ ни угрожали за молчаніе. Уже по одному тому я не сдѣлаю вамъ вреда, что все мое сердце полно безконечнымъ уваженіемъ

передъ вашей удивительной смѣлостью, я скажу даже больше — полно благоговѣніемъ, — ужасомъ, если хотите. Я, — а вѣдь я писатель, слѣдовательно человѣкъ съ воображеніемъ и фантазіей, — я не могу себѣ даже представить, какъ это возможно рѣшиться: за десятокъ тысячъ верстъ отъ родины, въ городѣ, полномъ ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью, — вѣдь васъ повѣсятъ безъ всякаго суда, если вы попадетесь, не такъ-ли? — и вдругъ разгуливать въ мундирѣ офицера, втесываться безъ разбора во всякія компаніи, вести самые рискованные разговоры! Вѣдь маленькая ошибка, оговорка погубить васъ въ одну секунду. Вотъ, полчаса тому назадъ, вы вмѣсто слова рукопись сказали — манускриптъ. Пустякъ, а очень характерный. Армейскій штабсъ-капитанъ никогда не употребитъ этого слова примѣнительно къ современной рукописи, а только къ архивной или къ особенно торжественной. Онъ даже не скажетъ: рукопись, а сочиненіе. Но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряженія ума и воли, этой дьявольской траты душевныхъ силъ. Разучиться думать по-японски, совсѣмъ забыть свое имя, отождествиться съ другой личностью. Нѣтъ, нѣтъ, это положительно выше всякаго героизма, о которомъ намъ говорили въ шко-

лахъ. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не врагъ вамъ.

Онъ говорилъ это совсѣмъ искренно, весь воспламененный и растроганный тѣмъ героическимъ образомъ, который ему рисовало воображеніе. Но штабсъ-капитанъ не шелъ и на лестъ. Онъ слушалъ его, глядя слегка прищуренными глазами въ бокаль, который онъ тихо двигалъ по скатерти, и углы его синихъ губъ нервно передергивались. И въ лицѣ его Щавинскій узнавалъ все ту-же скрытую насмѣшку, ту-же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть-можетъ, никогда непостижимую для европейца, ненависть мудраго, очеловѣченнаго, культурнаго, вѣжливаго звѣря къ существу другой породы.

— Э, бросьте вы, благодѣтель, — возразилъ небрежно Рыбниковъ. — Ну его къ дьяволу! Меня и въ полку дразнили японцемъ. Что тамъ! Я — штабсъ-капитанъ Рыбниковъ. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человѣчья. А вотъ я расскажу вамъ, у насъ въ полку былъ однажды случай...

— А вы въ какомъ полку служили? — внезапно спросилъ Щавинскій.

Но штабсъ-капитанъ какъ будто не разслышалъ. Онъ началъ рассказывать тѣ старые, заѣзженные, похабные анекдоты, которые рассказываются въ лагеряхъ, на маневрахъ, въ

казармахъ. И Щавинскій почувствовалъ невольно обиду.

Одинъ разъ, уже вечеромъ, сидя на извозчикѣ, Щавинскій обнялъ его за талію, притянулъ къ себѣ и сказалъ вполголоса:

— Капитанъ... нѣтъ, не капитанъ, а навѣрно полковникъ, иначе-бы вамъ не дали такого серьезнаго порученія. Итакъ, скажемъ, полковникъ: я преклоняюсь предъ вашей отвагой, то-есть, я хочу сказать, передъ безграничнымъ мужествомъ японскаго народа. Иногда, когда я читаю или думаю объ единичныхъ случаяхъ вашей чертовской храбрости и презрѣнія къ смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, напримѣръ, бессмертная красота и божественная дерзость въ поступкѣ этого командира разстрѣляннаго судна, который на предложеніе сдаться молча закурилъ папироску и съ папироской въ зубахъ пошелъ ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрѣніе къ врагамъ! А морскіе кадеты, которые на брандерахъ пошли на вѣрную смерть съ такой радостью, какъ будто они отправились на балъ? А помните, какъ какой-то лейтенантъ — одинъ, совсѣмъ одинъ, прибуксировалъ на лодкѣ торпеду къ окончанію портъ-артурскаго мола? Его освѣтили прожекторами, и отъ него съ его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стѣнѣ, но на дру-

гой-же день всѣ мичманы и лейтенанты японскаго флота засыпали адмирала Того прошеніями, гдѣ они вызывались повторить тотъ-же безумный подвигъ. Что за герои! Но еще великолѣпнѣе приказъ Того о томъ, чтобы подчиненные ему офицеры не смѣли такъ рисковать своей жизнью, которая принадлежить не имъ, а отечеству. Ахъ, чортъ, красиво!

— По какой это мы улицѣ ѣдемъ? — прервалъ его Рыбниковъ и зѣвнулъ. — Послѣ манчжурскихъ сопокъ я совсѣмъ забылъ ориентироваться на улицѣ. У насъ въ Харбинѣ...

Но увлекшійся Щавинскій продолжалъ, не слушая его:

— Помните вы случай, когда офицеръ, взятый въ плѣнъ, разбилъ себѣ голову о камень? Но что всего изумительнѣе — это подписи самураевъ. Вы, конечно, не слыхали объ этомъ, господинъ штабс-капитанъ Рыбниковъ? — спросилъ Щавинскій съ язвительнымъ подчеркиваніемъ. — Ну да, понятно, не слыхали... Генераль Ноги, видите-ли, вызвалъ охотниковъ итти въ первой колоннѣ на ночной штурмъ портъ-артурскихъ укрѣпленій. Почти весь отрядъ вызвался на это дѣло, на эту почетную смерть. И такъ какъ ихъ оказалось слишкомъ много, и, такъ какъ они торопились другъ передъ другомъ попасть на смерть, то они просили объ этомъ письменно,

и нѣкоторые изъ нихъ, по древнему обычаю, отрубали себѣ указательный палецъ лѣвой руки и прикладывали его къ подписи въ видѣ кровавой печати. Это дѣлали самураи!

— Самураи! — повторилъ Рыбниковъ глухо.

Въ горлѣ у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щавинскій быстро оглядѣлъ его въ профиль. Неожиданное, невиданное до сихъ поръ выраженіе нѣжной мягкости легло вокругъ рта и на дрогнувшемъ подбородкѣ штабс-капитана, и глаза его засіяли тѣмъ теплымъ, дрожащимъ свѣтомъ, который свѣтится сквозь внезапныя непроливающіяся слезы. Но онъ тотчасъ-же справился съ собой, на секунду зажмурился, потомъ повернулъ къ Щавинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдругъ выругался сквернымъ, длиннымъ русскимъ ругательствомъ.

— Капитанъ, капитанъ, что это съ вами? — воскликнулъ Щавинскій почти въ испугѣ.

— Это все въ газетахъ наврали, — сказалъ Рыбниковъ небрежно: — нашъ русскій солдатикъ ничѣмъ не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность, а мы почему ввязались? Никто не знаетъ! Чортъ знаетъ почему! Не было печали — черти накачали, какъ говорится по-русски. Что? Не вѣрно? Ха-ха-ха.

На бѣгахъ Щавинскаго нѣсколько отвлекла

игра, и онъ не могъ все время слѣдить за штабсъ-капитаномъ. Но въ антрактахъ между заѣздами онъ видѣлъ его изрѣдка то на одной, то на другой трибунѣ, вверху, внизу, въ буфетѣ и около кассъ. Въ этотъ день слово «Цусима» было у всѣхъ на языкѣ — у игроковъ, у наѣздниковъ, у букмекеровъ, даже у всѣхъ **таинственныхъ рваныхъ личностей**, обыкновенно неизбѣжныхъ на бѣгахъ. Это слово произносили и въ насмѣшку надъ выдохшейся лошадей и въ досадѣ на проигрышъ, и съ равнодушнымъ смѣхомъ и съ горечью. Кое-гдѣ говорили страстно. И Щавинскій видѣлъ издали, какъ штабсъ-капитанъ съ его довѣрчивой, развязной и пьяноватой манерой заводилъ съ кѣмъ-то споры, жалъ кому-то руки, хлопалъ кого-то по плечамъ. Его маленькая прихрамывающая фигура мелкала повсюду.

Съ бѣговъ поѣхали въ ресторанъ, а оттуда на квартиру къ Щавинскому. Фельетонистъ немного стыдился своей роли добровольнаго сыщика, но чувствовалъ, что не въ силахъ отстать отъ нея, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль отъ этой тайной, напряженной борьбы съ чужой душой. Убѣдившись, что лестъ ему не помогала, онъ теперь пробовалъ довести штабсъ-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патріотическія чувства.

— Да, но все-таки жаль мнѣ бѣдныхъ макаковъ! — говорилъ онъ съ ироническимъ сожалѣніемъ. — Что тамъ ни рассказывай, а Японія въ этой войнѣ истощила весь свой національный геній. Она, по-моему, похожа на худенькаго, тщедушнаго человѣка, который въ экстазѣ и опьянѣніи или отъ хвастовства взялъ и поднялъ спиною двадцать пудовъ, надорвалъ себѣ животъ и вотъ уже начинаетъ умирать медленной смертію. Россія, видите, это совсѣмъ особая страна — это колоссъ. Для нея манчжурскія пораженія все равно, что кровесосныя банки для полнокровнаго человѣка. Вотъ увидите, какъ она поправится и зацвѣтетъ послѣ войны. А Японія захирѣетъ и умретъ. Она надорвалась. Пусть мнѣ не говорить, что тамъ культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки въ концѣ концовъ японецъ — азіатецъ, получеловѣкъ, полуобезьяна. Онъ и по типу приближается къ обезьянѣ такъ-же, какъ бушменъ, туарежъ и ботокудъ. Стоитъ обратить вниманіе на камперовъ уголь его лица. Однимъ словомъ — макаки. И насъ побѣдила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка, эпилептический припадокъ. Вы знаете, что такое *raptus*, припадокъ бѣшенства? Слабая женщина разрываетъ цѣпи и разбрасываетъ здоровенныхъ

мужчинъ, какъ щепки. На другой день она не въ силахъ поднять руку. Такъ и Японія. Повѣрьте, послѣ ея героическаго припадка наступить безсиліе, маразмъ. Но, конечно, раньше она пройдетъ черезъ полосу національнаго хвастовства, оскорбительной военщины и безумнаго шовинизма.

— Вър-р-но! — кричалъ на это штабсъ-капитанъ Рыбниковъ въ дурацкомъ восторгѣ. Что вѣрно, то вѣрно. Вашу руку, мусье-писатель. Сразу видно умнаго человѣка.

Онъ хрипло хохоталъ, отплевывался, хлопалъ Щавинскаго по колѣнамъ, трясъ его за руку. И Щавинскому вдругъ стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательнаго сердецвѣда.

«А что, если я ошибаюсь, и этотъ Рыбниковъ — самый что ни на есть истый распѣхотный армейскій пропойца, Фу, ты, чорты! Да нѣтъ, это невозможно. И если возможно, то, Боже мой, какимъ дуракомъ я себя веду!»

У себя на квартирѣ онъ показалъ штабсъ-капитану свою библіотеку, коллекцію стариннаго фарфора, рѣдкія гравюры и двухъ породистыхъ сибирскихъ лаекъ. Жены его — маленькой опереточной артистки — не было въ городѣ.

Рыбниковъ разглядывалъ все это съ вѣжливымъ, но безучастнымъ любопытствомъ, въ

которомъ хозяину казалось даже нѣчто похожее на скуку, даже на холодное презрѣніе. Между прочимъ, Рыбниковъ открылъ книжку какого-то журнала и прочелъ изъ нея вслухъ нѣсколько строчекъ.

«Это онъ однако сдѣлалъ ошибку!» — подумалъ Щавинскій, когда услышалъ его чтеніе чрезвычайно правильное, но деревянное, съ преувеличенно-точнымъ произношеніемъ каждой буквы, какимъ щеголяютъ первые ученики, изучающіе чужой языкъ. Но, должно-быть, Рыбниковъ и самъ это замѣтилъ, потому что вскорѣ захлопнулъ книжку и спросилъ:

— Вы вѣдь сами писатель?

— Да... немного...

— А вы въ какихъ газетахъ пишете?

Щавинскій назвалъ. Этотъ вопросъ Рыбниковъ предлагалъ ему за нынѣшній день въ шестой разъ.

— Ахъ, да, да, да. Я позабылъ, я уже спрашивалъ. Знаете что, господинъ писатель?

— Именно?

— Сдѣлаемъ съ вами такъ: вы пишете, а я буду диктовать... То-есть не диктовать... О, нѣтъ, я никогда не посмѣю. — Рыбниковъ потеръ руки и закланялся торопливо. — Вы, конечно, будете излагать сами, а я вамъ буду только давать мысли и нѣкоторыя... какъ-бы

выразиться... мемуары о войнѣ... Ахъ, сколько у меня интереснаго матеріала!..

Щавинскій сѣлъ бокомъ на столъ и посмотрѣлъ на штабсъ-капитана, лукаво прищутивъ одинъ глазъ.

— И, конечно, упомянуть вашу фамилію?

— А что-же? Можете. Я ничего не имѣю противъ. Такъ и упомяните: свѣдѣнія эти любезно сообщены штабсъ-капитаномъ Рыбниковымъ, только-что вернувшимся съ театра военныхъ дѣйствій.

— Такъ-съ, чудесно-съ. Это вамъ для чего-же?

— Что такое?

— Да вотъ непременно, чтобы вашу фамилію? Или это вамъ нужно будетъ впослѣдствіи для отчета? Что вотъ, молю, инспирировалъ русскія газеты?.. Какой я ловкій мужчина? А?

Но штабсъ-капитанъ, по своему обыкновению, ушелъ отъ прямого отвѣта.

— А можетъ-быть, у васъ нѣтъ времени? Заняты другой работой? Тогда — и ну ихъ къ чорту, эти воспоминанія. Всего не перепишешь, что было. Какъ говорится: жизнь пережить — не поле перейти. Что? Не правду я говорю? Ха-ха-ха!

Въ это время Щавинскому пришла въ голову интересная затѣя. У него въ кабинетъ стоялъ

большой бѣлый столъ изъ некрашеннаго ясеневаго дерева. На чистой, нѣжной доскѣ этого стола всѣ знакомые Щавинскаго оставляли свои автографы въ видѣ афоризмовъ, стиховъ, рисунковъ и даже музыкальных нотъ. Онъ сказалъ Рыбникову:

— Смотрите, вотъ мой альбомъ, господинъ капитанъ. Не напишете-ли вы мнѣ что-нибудь на память о нашемъ пріятномъ¹ (Щавинскій учтиво поклонился) и, смѣю льстить себя надеждой, не кратковременномъ знакомствѣ?

— Отчего-же, я съ удовольствіемъ, — охотно согласился Рыбниковъ. — Что-нибудь изъ Пушкина или изъ Гоголя?

— Нѣтъ... ужъ лучше что-нибудь сами.

— Самъ? Отлично.

Онъ взялъ перо, обмакнулъ, подумалъ и приготовился писать. Но Щавинскій вдругъ остановилъ его:

— Мы съ вами вотъ какъ сдѣлаемъ лучше. Нате вамъ четвертушку бумаги, а здѣсь, въ коробочкѣ, кнопки. Прошу васъ, напишите что-нибудь особенно интересное, а потомъ закройте бумагой и прижмите по угламъ кнопками. Я даю вамъ честное слово, честное слово писателя, что въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ я не притронусь къ этой бумажкѣ и не буду глядѣть, что вы тамъ написали.

Идетъ? Ну, такъ пишите. Я нарочно уйду, чтобъ вамъ не мѣшать.

Черезъ пять минутъ Рыбниковъ крикнулъ ему:

— Пожалуйста!

— Готово? — спросилъ Щавинскій, входя.

Рыбниковъ вытянулся, приложилъ руку ко лбу, какъ отдають честь, и гаркнулъ по-солдатски:

— Такъ точно, ваше благородіе.

— Спасибо! Ну, а теперь поѣдемъ въ Буффъ, или еще куда-нибудь, — сказалъ Щавинскій. — Тамъ будетъ видно. Я васъ сегодня цѣлый день не отпущу отъ себя, капитанъ.

— Съ моимъ превеликимъ удовольствіемъ, — сказалъ хриплымъ басомъ Рыбниковъ, щелкая каблуками.

И, поднявъ кверху плечи, онъ лихо расправилъ въ одну и другую сторону усы.

Но Щавинскій невольно обманулъ штабс-капитана и не сдержалъ своего слова. Въ послѣдній моментъ, передъ уходомъ изъ дома фельетонистъ спохватился, что забылъ въ кабинетѣ свой портсигаръ, и пошелъ за нимъ, оставивъ Рыбникова въ передней. Бѣлый листокъ бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздражилъ его любопытство. Онъ не устоялъ передъ соблазномъ, обернулся поворовски назадъ и, отогнувъ бумагу, быстро

прочиталь слова, написанныя тонкимъ, четкимъ, необыкновенно изящнымъ почеркомъ:
«Хоть ты Ивановъ 7-й, а дуракъ!..»

IV.

Много позднѣе полуночи они выходили изъ загороднаго кафе-шантана въ компаніи извѣстнаго опереточнаго комика Женина-Лирскаго, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который былъ извѣстенъ повсюду въ Петербургѣ своимъ несравненнымъ умѣньемъ рассказывать смѣшныя сценки на злобу дня, и покровителя искусствъ — купеческаго сына Карюкова.

Было не свѣтло и не темно. Стояла теплая, бѣлая, прозрачная ночь съ ея нѣжными переливчатыми красками, съ перламутровой водой въ тихихъ каналахъ, четко отражавшихъ сѣрый камень набережной и неподвижную зелень деревьевъ, съ блѣднымъ, точно утомленнымъ безсонницей небомъ и со спящими облаками на небѣ, длинными, тонкими, пушистыми, какъ клочья растрепанной ваты.

— Куда-жь мы поѣдемъ? — спросилъ Щавинскій, останавливаясь у воротъ сада. — Маршалъ Ояма! Ваше просвѣщенное мнѣніе?

Всѣ пятеро замѣшкались на тротуарѣ. Ими

овладѣлъ моментъ обычной предутренней нерѣшительности, когда въ закутившихъ людяхъ физическая усталость борется съ непреодолимымъ раздражающимъ стремленьемъ къ новымъ прянымъ впечатлѣніямъ. Изъ сада непрерывно выходили посѣтители, смѣясь, напѣвая, звонко шаркая ногами по сухимъ бѣлымъ плитамъ. Торопливой походкой, смѣло свистя шелкомъ нижнихъ юбокъ, выбѣгали шансонетныя пѣвицы въ огромныхъ шляпахъ, съ дрожащими брильянтами въ ушахъ, въ сопровожденіи щеголеватыхъ мужчинъ въ свѣтлыхъ костюмахъ, украшенныхъ бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсаживаемыя швейцарами, впархивали въ экипажи и въ пыхтящіе автомобили, непринужденно расправляли вокругъ своихъ ногъ платья и быстро уносились впередъ, придерживая рукой передній край шляпы. Хористки и садовыя дѣвицы высшаго разбора разъѣзжались на простыхъ извозчикахъ, сидя съ мужчиной по одной и по двѣ. Другія — обыкновенныя, панельныя проститутки шныряли тутъ-же около деревяннаго забора, приставая къ тѣмъ мужчинамъ, которые расходились пѣшкомъ, и въ особенности къ пьянымъ. Ихъ лица въ свѣтломъ, бѣломъ сумракѣ майской ночи казались, точно грубыя маски, голубыми отъ бѣлилъ, рдѣли пунцовымъ румянцемъ и пора-

жали глазь чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; но тѣмъ жалче изъ-подъ этихъ наивно-яркихъ красокъ выглядывала желтизна морщинистыхъ висковъ, худоба жилистыхъ шей и ожирѣлость дряблыхъ подбородковъ. Двое конныхъ городовыхъ, непристойно ругаясь, то и дѣло наѣзжали на нихъ опѣнненными мордами своихъ лошадей, отъ чего дѣвицы визжали, разбѣгались и хватались за рукава прохожихъ. У рѣшетки, ограждающей каналъ, толпилось челоуѣкъ двадцать — тамъ происходилъ обычный утренній скандалъ. Мертвецки пьяный безусый офицерикъ буянилъ и дѣлалъ видъ, что хочетъ вытащить шашку, а городской о чемъ-то его упрасивалъ убѣдительнымъ фальцетомъ, прилагая руку къ сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность въ картузѣ съ рванымъ козырькомъ говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородіе, плюньте на ихъ, не стоитъ вамъ внимать обращеніе. Лучше вы вдарьте mine въ морду, позвольте, я вамъ ручку поцѣлую, ваше благородіе». А въ заднихъ рядахъ сухопарый и суровый джентльменъ, у котораго изъ-подъ надвинутаго на носъ котелка виднѣлись только толстые, черные усы, гудѣлъ невнятнымъ басомъ: — «Чего ему въ зубы смотрѣть! Въ воду его и крышка!»

— А въ самомъ дѣлѣ, майоръ Фукушима, — сказалъ актеръ. — Надо-же достойно заключить день нашего пріятнаго знакомства. Поѣдемте къ дѣвочкамъ. Сашка, куда?

— Къ Бертъ? — отвѣтилъ вопросомъ Штральманъ.

Рыбниковъ захихикалъ и съ веселой суетливостью потеръ руки.

— Къ женщинамъ? А что-жъ, за компанію — говоритъ русская пословица — и жидъ удавился. Куда люди, туда мы. Что, не правда? Ъхать такъ ъхать — сказалъ попугай. Что? Ха-ха-ха!

Съ этими молодыми людьми его познакомилъ Щавинскій, и они всѣ вмѣстѣ ужинали въ кафе-шантанѣ, слушали румынъ и пили шампанское и ликеры. Одно время имъ казалось смѣшнымъ называть Рыбникова фамилія-ми разныхъ японскихъ полководцевъ, тѣмъ болѣе, что добродушіе штабсъ-капитана, по-видимому, не имѣло границъ. Эту грубую и фамиллярную игру началъ Щавинскій. Правда, онъ чувствовалъ по временамъ, что поступаетъ по отношенію къ Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но онъ успокаивалъ свою совѣсть тѣмъ, что ни разу не высказалъ вслухъ своихъ подозрѣній, а его знакомымъ они вовсе не приходили въ голову. .

Въ началѣ вечера онъ наблюдалъ за Рыбниковымъ. Штабсъ-капитанъ былъ шумнѣе и

болтливѣе всѣхъ; онъ ежеминутно чокался, вскакивалъ, садился, разливалъ вино по ска-терти, закуривалъ папиросу не тѣмъ концомъ. Однако Щавинскій замѣтилъ, что пилъ онъ очень мало.

Рыбникову опять пришлось ѣхать на извозчикѣ вмѣстѣ съ фельетонистомъ. Щавинскій почти не былъ пьянъ — онъ вообще отличался большой выносливостью въ кутежахъ, но голова у него была легкая и шумная, точно въ ней играла пѣна отъ шампанскаго. Онъ поглядѣлъ на штабсъ-капитана съ боку. Въ невѣрномъ, полусонномъ свѣтѣ бѣлой ночи лицо Рыбникова приняло темный, глиняный оттѣнокъ. Всѣ впадины на немъ стали рѣзкими и черными, морщинки на вискахъ и складки около носа и вокругъ рта углубились. И самъ штабсъ-капитанъ сидѣлъ сгорбившись, опустившись, запрятавъ руки въ рукава шинели, тяжело дыша раскрытымъ ртомъ. Все это вмѣстѣ придавало ему измученный, страдальческій видъ. Щавинскій даже слышалъ носомъ его дыханіе и подумалъ, что именно такое несвѣжее, кислое дыханіе бываетъ у игроковъ послѣ нѣсколькихъ ночей азарта, у людей, истомленныхъ безсонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушнаго умиленія и жалости прилила къ сердцу Щавинскаго. Штабсъ-капитанъ вдругъ показался ему

маленькимъ, загнаннымъ, трогательно жалкимъ. Онъ обнялъ Рыбникова, привлекъ къ себѣ и сказалъ ласково:

— Ну, ладно, капитанъ. Я сдаюсь. Ничего не могу съ вами подѣлать и извиняюсь, если доставилъ вамъ нѣсколько непріятныхъ минутъ. Вашу руку.

Онъ отстегнулъ отъ своей визитки бутоньерку съ розой, которую ему навязала въ саду продавщица цвѣтовъ, и вдѣлъ ее въ петлицу капитанскаго пальто.

— Это въ знакъ мира, капитанъ. Не будемъ больше изводить другъ друга.

Извозчикъ остановился у каменнаго двухъ-этажнаго особняка съ приличнымъ подъѣздомъ, съ окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные пріѣхали раньше и уже ихъ дожидались. Ихъ пустили не сразу. Сначала въ тяжелой двери открылось изнутри четырехугольное отверстіе, величиной съ ладонь, и въ немъ на нѣсколько секундъ показался чей-то холодный и внимательный сѣрый глазъ. Потомъ двери раскрылись.

Это учрежденіе было нѣчто среднее между дорогимъ публичнымъ домомъ и роскошнымъ клубомъ — съ шикарнымъ входомъ, съ чуеломъ медвѣдя въ передней, съ коврами, шелковыми занавѣсками и люстрами, съ лакеями во фракахъ и перчаткахъ. Сюда ѣздили

мужчины заканчивать ночь послѣ закрытія ресторановъ. Здѣсь-же играли въ карты, держались дорогія вина, и всегда былъ большой запасъ красивыхъ, свѣжихъ женщинъ, которыя часто мѣнялись.

Пришлось подниматься во второй этажъ. Тамъ наверху была устроена широкая площадка съ растеніями въ кадкахъ и съ диванчикомъ, отдѣленная отъ лѣстницы перилами. Щавинскій поднимался подъ руку съ Рыбниковымъ. Хотя онъ и далъ себѣ внутренне слово — не дразнить его больше, но тутъ не могъ сдержаться и сказалъ:

— Взойдемте на эшафотъ, капитанъ!

— Я не боюсь, — сказалъ тотъ лѣнливо. — Я и такъ хожу каждый день на смерть.

Рыбниковъ слабо махнулъ рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдругъ сдѣлалось отъ этой улыбки усталымъ, какимъ-то сѣрымъ и старческимъ.

Щавинскій посмотрѣлъ на него молча съ удивленіемъ. Ему стало стыдно своей назойливости. Но Рыбниковъ тотчасъ-же вывернулся.

— Ну да, на смерть. Солдатъ всегда долженъ быть готовъ къ этому. Что подѣлаешь? Смерть — это маленькое неудобство въ нашей профессіи.

Въ этомъ домѣ Щавинскій и меценатъ Ка-

рюковъ были свои люди и почетные завсегда-таи. Ихъ встрѣчали съ веселыми улыбками и глубокими поклонами.

Имъ отвели большой, теплый кабинетъ, красный съ золотомъ, съ толстымъ свѣтло-зеленымъ ковромъ на полу, съ канделябрами въ углахъ и на столѣ. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины — сначала три, потомъ еще двѣ, — потомъ все время однѣ изъ нихъ приходили, другія уходили, и всѣ до одной онѣ были хорошенькія, сильно напудренные, съ обнаженными бѣлыми руками, шеями и грудью, одѣтыя въ блестящія, яркія, дорогія платья, нѣкоторыя въ юбкахъ по колѣно, одна въ коричневой формѣ гимназистки, одна въ тѣсныхъ рейтузахъ и жокейской шапочкѣ. Пришла также пожилая полная дама въ черномъ, что-то вродѣ хозяйки или домоправительницы — очень приличная на видъ, съ лицомъ лимонно-желтымъ и дряблымъ, которая все время смѣялась по-старчески пріятно, ежеминутно кашляла и курила, не переставая. Она обращалась съ Щавинскимъ, съ актеромъ и меценатомъ съ милымъ, непринужденнымъ кокетствомъ дамы, годящейся имъ въ матери, хлопала ихъ по рукамъ платкомъ, а Штральмана — очевидно, любимца — называла Сашкой.

— Ну-съ, генераль Куроки, выпьемъ за

блестящіе успѣхи славной манчжурской арміи. А то вы сидите и киснете, — сказала Карюковъ.

Щавинскій перебилъ его, зѣвнувъ:

— Будетъ вамъ, господа. Кажется, ужъ должно-бы надоѣсть. Вы злоупотребляете добродушіемъ капитана.

— Нѣтъ, я не сержусь, — возразилъ Рыбниковъ: — выпьемте, господа, за здоровье нашихъ милыхъ дамъ.

— Лирскій, спой что-нибудь, — попросилъ Щавинскій.

Актеръ охотно сѣлъ за піанино и запѣлъ цыганскій романсъ. Онъ собственно не пѣлъ его, а скорѣе рассказывалъ, не выпуская изъ рта сигары, глядя въ потолокъ, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспѣть раньше другой въ словахъ. Потомъ Сашка Штральманъ прекрасно имитировалъ фонографъ, изображалъ въ лицахъ итальянскую оперу и подражалъ животнымъ. Карюковъ танцевалъ фанданго и все спрашивалъ новыя бутылки.

Онъ первый исчезъ изъ комнаты съ рыжей молчаливой полькой, за нимъ послѣдовали Штральманъ и актеръ. Остались только Щавинскій, у котораго на колѣняхъ сидѣла смуглая бѣлозубая венгерка, и Рыбниковъ рядомъ съ бѣлокурой полной женщиной въ

синей атласной кофтѣ, вырѣзанной четырехугольникомъ до половины груди.

— Что-жъ, капитанъ, простимся на минутку, — сказалъ Щавинскій, поднимаясь и потягиваясь. — Поздно. Вѣрнѣе, надо-бы сказать, рано. Приѣзжайте ко мнѣ въ часъ завтракать, капитанъ. Мамаша, вы вино запишите на Карюкова. Если онъ любитъ святое искусство, то пусть и платить за честь ужинать съ его служителями. Мои комплименты.

Бѣлокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто:

— Пойдемъ и мы, дуся. Правда, поздно.

V.

У нея была маленькая, веселая комнатка съ голубыми обоями, блѣдно-голубымъ висячимъ фонаремъ; на туалетномъ столѣ круглое зеркало въ голубой кисейной рамѣ, на одной стѣнѣ олеографія, на другой сѣнѣ коверъ, и вдоль его широкая металлическая кровать.

Женщина раздѣлась и съ чувствомъ облегченія и удовольствія погладила себя по бокамъ, гдѣ сорочка отъ корсета залегла складками. Потомъ она прикрутила фитиль въ лампѣ и,

сѣвши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки.

Рыбниковъ сидѣлъ у стола, разставивъ локти и опустивъ на нихъ голову. Онъ, не отрываясь, глядѣлъ на ея большія, но красивыя ноги съ полными икрами, которыя ловко обтягивали черныя ажурныя чулки.

— Что-же вы, офицеръ, не раздѣваетесь? — спросила женщина. — Скажите, дуся, отчего они васъ зовутъ японскимъ генераломъ?

Рыбниковъ засмѣялся, не отводя взгляда отъ ея ногъ.

— Это такъ — глупости. Просто, они шутятъ. Знаешь стихи: смѣяться, право, не грѣшно надъ тѣмъ, что кажется смѣшно...

— Дуся, вы меня угостите еще шампанскимъ? Ну, если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсиновъ. Вы на время или на ночь?

— На ночь.

— Ну, такъ иди ко мнѣ...

Она легла съ нимъ рядомъ, торопливо бросила черезъ себя на полъ папиросу и забарахталась подъ одѣяломъ.

— Ты у стѣнки любишь? — спросила она. — Хорошо, лежи, лежи. У, какія у тебя ноги холодныя! Ты знаешь, я обожаю военныхъ. Какъ тебя зовутъ?

— Меня? — онъ откашлялся и отвѣтилъ невѣрнымъ тономъ: — Я — штабсъ-капи-

танъ Рыбниковъ. Василій Александровичъ Рыбниковъ.

— А, Вася! У меня есть одинъ знакомый лицеистикъ Вася — прелесть, какой хорошенькій!

Она запѣла, ежась подъ одѣяломъ, смѣясь и жмурясь: :

Вася, Вася, Васенька,
Говоришь ты басенки.

— А, знаешь, ей Богу, ты похожъ на япончика. И знаешь на кого? На микаду. У насъ есть портретъ. Жаль, теперь поздно, а то я-бы тебѣ показала. Ну, вотъ, прямо, какъ двѣ капли воды.

— Что-жъ, очень пріятно, — сказалъ Рыбниковъ и тихо обнялъ ее гладкое и круглое плечо.

— А можетъ, ты и правда японецъ? Они говорятъ, что ты былъ на войнѣ — это правда? Ой, милочка, я боюсь щекотки. А что, страшно на войнѣ?

— Страшно... Нѣтъ, не особенно... Оставимъ это, — сказалъ онъ устало. — Какъ твое имя?

— Клотильда. Нѣтъ, я тебѣ скажу по секрету, что меня зовутъ Настей. Это только мнѣ здѣсь дали имя Клотильда. Потому что мое

имя такое некрасивое... Настя, Настасья, точно кухарка.

— Настя? — переспросилъ онъ задумчиво и осторожно поцѣловалъ ее въ грудь. — Нѣтъ, это хорошо. На-стя, — повторилъ онъ медленно.

— Ну вотъ, что хорошаго? Вотъ хорошія имена, напримѣръ, Мальвина, Ванда, Женя, а то вотъ еще Ирма... Ухъ, дуся! — она прижалась къ нему. — А вы симпатичный... Такой брюнетъ. Я люблю брюнетовъ. Вы, навѣрно, женаты?

— Нѣтъ, не женатъ.

— Ну вотъ, рассказывайте. Всѣ здѣсь прикидываются холостыми. Навѣрно, шесть чловѣкъ дѣтей имѣете?

Оттого, что окно было заперто ставнями, а лампа едва горѣла, въ комнатѣ было темно. Ея лицо, лежавшее совсѣмъ близко отъ его головы, причудливо и измѣнчиво выдѣлялось на смутной бѣлизнѣ подушки. Оно уже стало непохоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое русское сѣроглазое лицо, — теперь оно сдѣлалось точно худѣе и, ежеминутно и странно мѣняя выраженіе, казалось нѣжнымъ, милымъ, загадочнымъ и напоминало Рыбникову чье-то безконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо.

— Какъ ты хороша! — шепталъ онъ. — Я люблю тебя... я тебя люблю...

Онъ произнесъ вдругъ какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины.

— Что ты сказалъ? — спросила она съ удивленіемъ.

— Нѣтъ, ничего... ничего. Это — такъ. Милая! Женщина! Ты — женщина... Я люблю тебя...

Онъ цѣловалъ ей руки, шею, волосы, дрожа отъ нетерпѣнія, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслажденіе. Имъ овладѣла бурная и нѣжная страсть къ этой сытой, бездѣтной самкѣ, къ ея большому, молодому, выхоленному, красивому тѣлу. Влеченіе къ женщинѣ, подавляемое до сихъ поръ суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось въ немъ нестерпимымъ, опьяняющимъ пламенемъ.

— У тебя и руки холодныя, — сказала она съ застѣнчивой неловкостью. Было въ этомъ человѣкѣ что-то неожиданное, тревожное, совсѣмъ непонятное для нея. — Руки холодныя — сердце горячее.

— Да, да, да... Сердце, — твердилъ онъ, какъ безумный, задыхаясь и дрожа. — Сердце горячее... сердце...

Она уже давно привыкла къ внѣшнимъ об-

рядамъ и постыднымъ подробностямъ любви и исполняла ихъ каждый день по нѣскольку разъ — механически, равнодушно, часто съ молчаливымъ отвращеніемъ. Сотни мужчинъ, отъ древнихъ старцевъ, клавшихъ на ночь свои зубы въ стаканъ съ водой, до мальчишекъ, у которыхъ въ голосъ бась мѣшается съ дискантомъ, штатскіе, военные, люди плѣшивые и обросшіе, какъ обезьяны, съ ногъ до головы шерстью, взволнованные и безсильные, морфинисты, не скрывавшіе передъ ней своего порока, красавцы, калѣки, развратники, отъ которыхъ ее иногда тошнило, юноши, плакавшіе отъ тоски перваго паденія — всѣ они обнимали ее съ безстыдными словами, съ долгими поцѣлуями, дышали ей въ лицо, стонали отъ пароксизма собачьей страсти, которая — она уже заранѣе знала — сію минуту смѣнится у иныхъ нескрываемымъ, непреодолимымъ отвращеніемъ. И давно уже всѣ мужскія лица потеряли въ ея глазахъ всякія индивидуальныя черты — и точно слились въ одно омерзительное, но неизбѣжное, вѣчно склоняющееся къ ней, похотливое, козлиное мужское лицо съ колючимъ слюнявымъ ртомъ, съ затуманенными глазами, тусклыми, какъ слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастія, которое ей было противно, потому что она его никогда не раздѣляла.

Къ тому-же всѣ они были грубы, требовательны и лишены самага простѣйшаго стыда, были большей частью безобразно смѣшны, какъ только можетъ быть безобразень и смѣшонъ современный мужчина въ нижнемъ бѣльѣ. Но этотъ маленькій пожилой офицеръ производилъ какое-то особенное, новое, привлекательное впечатлѣніе. Всѣ движенія его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцѣлуи и прикосновенія были невиданно-нѣжны. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ незаметно окружалъ ее той нервной атмосферой истинной, напряженной, звѣриной страсти, которая даже на разстояніи, даже противъ воли, волнуетъ чувственность женщины, дѣлаетъ ее послушной, подчиняетъ ее желаніямъ самца. Но ея бѣдный маленькій умъ, не выходявшій за узкія рамки обихода публичнаго дома, не умѣлъ сознать этого страннаго, волнующаго очарованія. Она могла только шептать, стыдась, счастливая и увлеченная, обычныя пошлыя слова:

— Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпаляля? Да?

Она встала, потушила лампу и опять легла возлѣ него. Сквозь щели между ставнями и стѣной тонкими полосами бѣлѣло утро, наполняя комнату синимъ туманнымъ полусвѣтомъ. Гдѣ-то за перегородкой торопливо сту-

чалъ будильникъ. Кто-то пѣлъ далеко-далеко и грустно.

— Когда ты еще придешь? — спросила женщина.

— Что? — сонно спросилъ Рыбниковъ, открывая глаза. — Когда приду? Скоро... Завтра...

— Ну да... обманываешь. Нѣтъ, скажи по правдѣ — когда? Я безъ тебя буду скучать.

— Мм... Мы придемъ скучать... Мы имъ напишемъ... Они останются въ горахъ... — бормоталъ онъ безсвязно.

Тяжелая дремота сковывала и томила его тѣло. Но, какъ это всегда бываетъ съ людьми, давно выбившимися изъ сна, онъ не могъ заснуть сразу. Едва только сознаніе его начинало заволакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвенія, какъ страшный внутренній толчокъ вдругъ подбрасывалъ его тѣло. Онъ со стономъ вздрагивалъ, широко открывалъ въ дикомъ испугѣ глаза и тотчасъ же опять погружался въ раздражающее переходное состояніе между сномъ и бодрствованіемъ, похожее на бредъ, полный грозныхъ, путанныхъ видѣній.

Женщинѣ не хотѣлось спать. Она сидѣла на кровати въ одной сорочкѣ, обхвативъ голыми руками согнутыя колѣни, и съ боязливымъ любопытствомъ смотрѣла на Рыбникова. Въ

голубоватомъ полумракѣ его лицо еще больше пожелтѣло, обострилось и было похоже на мертвое. Ротъ оставался открытымъ, но дыханія его она не слышала. И на всемъ его лицѣ—особенно кругомъ глазъ и около рта — лежало выраженіе такой измученности, такого глубокаго человѣческаго страданія, какого она еще никогда не видала въ своей жизни. Она тихо провела рукой по его жесткимъ волосамъ и лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липкимъ потомъ. Отъ этого прикосновенія Рыбниковъ задрожалъ, испуганно вскрикнулъ и быстрымъ движеніемъ поднялся съ подушекъ.

— А!.. Кто это? Кто? — произносилъ онъ отрывисто, вытирая рукавомъ рубашки лицо.

— Что съ тобой, котикъ? —спросила женщина участливо. — Тебѣ нехорошо? Можетъ-быть дать тебѣ воды?

Но Рыбниковъ уже овладѣлъ собой и опять легъ.

— Нѣтъ, благодарю!.. Теперь хорошо... Мнѣ приснилось... Ложись спать, милая дѣвочка, прошу тебя.

— Когда тебя разбудить, дуся? —спросила она.

— Разбудить... Утромъ... Рано взойдетъ солнце, и пріѣдутъ драгуны... Мы поплывемъ... Знаете? Мы поплывемъ черезъ рѣку.

Онъ замолчалъ и нѣсколько минутъ лежалъ тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Онъ со стономъ повернулся на спину, и странныя, дико звучащія, таинственные слова чужого языка быстро побѣжали съ его губъ.

Женщина слушала, переставъ дышать, охваченная тѣмъ суевѣрнымъ страхомъ, который всегда порождается бредомъ спящаго. Его лицо было въ двухъ вершкахъ отъ нея, и она не сводила съ него глазъ. Онъ молчалъ съ минуту, потомъ опять заговорилъ длинно и непонятно. Опять помолчалъ, точно прислушиваясь къ чьимъ-то словамъ. И вдругъ женщина услышала произнесенное громко, яснымъ и твердымъ голосомъ, единственное знакомое ей изъ газетъ японское слово:

— Банзай!

Сердце ея такъ сильно трепетало, что отъ его толчковъ часто и равномерно вздрагивало плюшевое одѣяло. Она вспомнила, какъ сегодня въ красномъ кабинетѣ Рыбникова называли именами японскихъ генераловъ, и слабое, далекое подозрѣніе уже начинало копошиться въ ея темномъ умѣ.

Кто-то тихонько поцарапался въ дверь. Она встала и отворила ее.

— Клотильдочка, это ты? — слышался

тихій женскій шопоть. — Ты не спишь? Зайди ко мнѣ на минуточку. У меня Ленька, угощает абрикотиномъ. Зайди, милочка!

Это была Соня-Караимка — сосѣдка Клотильды, связанная съ нею узами той истерической и слащавой влюбленности, которая всегда соединяетъ попарно женщинъ въ этихъ учрежденіяхъ.

— Хорошо. Я сейчасъ приду. Ахъ, я тебѣ расскажу что-то интересное. Подожди, я одѣнусь.

Глупости! Не надо. Передъ кѣмъ стѣсняться, передъ Ленькой! Иди, какъ есть.

Она стала надѣвать юбку.

Рыбниковъ проснулся.

— Ты куда? — спросилъ онъ сонно.

— Я сейчасъ, мнѣ надо, — отвѣтила она, поспѣшно завязывая тесемку надъ бедрами. — Спи себѣ. Я сію минуту вернусь.

Но онъ уже не слыхалъ ея послѣднихъ словъ, потому что густой чернѣй сонъ сразу потопилъ его сознаніе.

VI.

Ленька былъ кумиромъ всего дома, начиная отъ мамы и кончая послѣдней горничной. Въ этихъ учрежденіяхъ, гдѣ скука, бездѣйст-

віе и лубочная литература порождаютъ повышенные романтическіе вкусы, наибольшимъ обожаніемъ пользуются воры и сыщики, благодаря своему героическому существованію, полному захватывающихъ приключеній, опасности и риска. Ленъка появлялся здѣсь въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, чуть-ли не гримированнымъ, былъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ многозначительно и таинственно молчаливъ, и главное — это всѣ хорошо помнятъ — онъ неоднократно доказывалъ, что мѣстные городовые чувствуютъ къ нему безграничное уваженіе и слѣпо исполняютъ его приказанія. Былъ случай, когда онъ тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочномъ жаргонѣ, въ одинъ мигъ прекратилъ страшный скандалъ, затѣянный пьяными ворами, и заставилъ ихъ покорно уйти изъ заведенія. Кромѣ того, у него временами водились большія деньги. Поэтому немудрено, что къ Генріеттѣ, или, какъ онъ ее называлъ, Генькѣ, съ которою онъ «крутилъ любовь», относились здѣсь съ завистливымъ почтеніемъ.

Это былъ молодой человѣкъ со смуглымъ веснушчатымъ лицомъ, съ черными усами, торчащими вверхъ, къ самымъ глазамъ, съ твердымъ, низкимъ и широкимъ подбородкомъ и съ темными, красивыми, наглыми глазами. Онъ сидѣлъ теперь на диванѣ безъ сюртука,

въ разстегнутомъ жилетѣ и развязанномъ галстукѣ. Онъ былъ строенъ и малъ ростомъ, но выпуклая грудь и крѣпкіе мускулы, расправшіе рукава рубашки у плечъ, говорили объ его большой силѣ. Рядомъ съ нимъ, съ ногами на диванѣ, сидѣла Генька, напротивъ — Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликеръ, онъ рассказывалъ небрежно, наиграннымъ фатовскимъ тономъ:

— Привели его въ участокъ. Паспортъ при немъ: Корней Сапѣтовъ, колпинскій мѣщанинъ, или какъ тамъ его. Ну, конечно, обязательно пьянъ каналья. «Посадить его въ холодную для вытрезвленья». Обыкновенный принципъ. Но въ эту самую минуту я случайно прихожу въ канцелярію пристава. Гляжу—ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька-Мясникъ. Тройное убійство и взломъ святого храма. Сейчасъ сдѣлалъ издали глазами намекъ дежурному околоточному и, какъ будто ничего себѣ, вышелъ въ коридоръ. Выходить ко мнѣ околоточный. «Что вы, Леонтій Спиридоновичъ?»—«А ну-ка отправьте этого красавца на минуточку въ сыскную». Привели его. У мерзавца ни одинъ мускулъ на лицѣ не дрогнулъ. Я этакъ посмотрѣлъ ему въ глаза и говорю...—Ленька значительно постучалъ костяжками пальцевъ по столу: «Давно-ли, Санечка, пожаловали къ намъ изъ Одессы?» Онъ,

конечно, держать себя индифферентно — валяеть дурака. Никакихъ. Тоже субъектъ! «Не могу знать, какой-такой Санька-Мясникъ. Я такой-то». Тутъ я подхожу къ нему, хватъ его за бороду! — трахъ! Борода остается у меня въ рукахъ. Привязная!.. «Сознаешься, сукинъ сынъ?» — «Не могу знать». Кэ-экъ я его, прохвоста, врѣжу въ переносѣ, прямымъ штосомъ — р-разъ! Потомъ — два! Въ кровь! — «Сознаешься?» — «Не могу знать». — «А — такъ ты такъ-то! Я до сихъ поръ гуманно щадилъ тебя. А теперъ пеней на себя. Позвать сюда Арсентія-Блоху». Былъ у насъ такой арестантъ, до слезъ этого Саньку ненавидѣлъ. Я, братъ, ужъ точно знаю ихніе взаимные фигель-мигели. Привели Блоху. «Ну, такъ и такъ, Блоха. Кто сей самый индивидумъ?» Блоха смѣется: — «Да кто-же иной, какъ не Санька-Мясникъ? Какъ ваше здоровье, Санечка? Давно-ли къ намъ припожаловали? Какъ вамъ фартило въ Одестахъ?» Ну, ужъ тутъ Мясникъ сдался. «Берите, говорить, Леонтій Спиридоновичъ, ваша взяла, отъ васъ никуда не уйдешь. Одолжите папирочку». Ну, конечно, я ему папироску далъ. Я имъ въ этомъ никогда не отказываю изъ альтруизма. Повели раба Божьяго. А на Блоху онъ только поглядѣлъ. И я подумалъ: «Ну,

ужь, должно-быть, Блохъ не поздоровится. Навѣрно, его Мясникъ пришьетъ».

— Пришьетъ? — шопотомъ, съ ужасомъ, съ подобострастіемъ и увѣренностью, спросила Генька.

— Абсолютно пришьетъ. Амба. Этотъ такой!

Онъ самодовольно прихлебнулъ изъ рюмки. Генька, которая глядѣла на него остановившимися, испуганными глазами съ такимъ вниманіемъ, что даже ротъ у нея открылся и сталъ влажнымъ, хлопнула себя руками по ляжкамъ.

— Ахъ, ты, Боже-жъ мой! Какіе ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Леня?

— Ну вотъ!.. Стану я всякой рвани бояться.

Восторженное вниманіе женщинъ раззудило его, и онъ сталъ врать о томъ, что гдѣ-то на Васильевскомъ островѣ студенты готовили бомбы, и о томъ, какъ ему градоначальникъ поручилъ арестовать этихъ злоумышленниковъ. А бомбъ тамъ было — потомъ ужь это оказалось — двѣнадцать тысячъ штукъ. Если бы все это взорвалось — такъ не только, что дома этого, а, пожалуй, и полъ-Петербурга не осталось-бы...

Дальше слѣдовалъ захватывающій рассказъ о необычайномъ героизмѣ Ленки, который

самъ переодѣлся студентомъ, проникъ въ «адскую лабораторію», подалъ кому-то знакъ изъ окна и въ одинъ мигъ обезоружилъ злодѣевъ. Одного онъ даже схватилъ за рукавъ въ тотъ самый моментъ, когда тотъ собирался взорвать кучу бомбъ.

Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногамъ и то и дѣло обращалась къ Клотильдѣ съ восклицаніями:

— Ахъ, ну и что-же это такое, Господи? Нѣтъ, ты подумай только, Клотильдочка, какіе подлецы эти студенты. Вотъ ужъ я ихъ никогда не уважала.

Наконецъ, совсѣмъ растроганная, очарованная своимъ любовникомъ, она повисла у него на шеѣ и стала его громко цѣловать.

— Ленечка, моя дуся! Даже страшно слушать! И какъ это ты ничего не боишься?

Онъ самодовольно взвинтилъ свой лѣвый усь вверхъ и обронилъ небрежно:

— Чего-жъ бояться? Разъ умирать. За то и деньги получаю.

Клотильду все время мучила ревнивая зависть къ подругѣ, обладавшей такимъ великолѣпнымъ любовникомъ. Она смутно подозрѣвала, что въ разсказахъ Леньки много вранья, а между тѣмъ у нея было сейчасъ въ рукахъ нѣчто совсѣмъ необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило-

бы потускнѣть впечатлѣніе отъ Ленкиныхъ подвиговъ. Она колебалась нѣсколько минутъ. Какой-то отголосокъ нѣжной жалости къ Рыбникову еще удерживалъ ее. Но истерическое стремленіе блеснуть романтическимъ случаемъ взяло верхъ, и она сказала тихо, глухимъ голосомъ:

— А знаешь, Леня, что я тебѣ хотѣла сказать? Вотъ у меня сегодня странный гость.

— Мм? Думаешь, жуликъ? — спросилъ снисходительно Ленка.

Генка обидѣлась.

— Что-о? Это по-твоему жуликъ? Тоже скажешь! Пьяный офицеришка какой-то.

— Нѣтъ, ты не говори, — съ дѣловой важностью перебилъ ее Ленка: — бываютъ, которые и жулики офицерами переодѣваются. Ну, такъ что ты хотѣла сказать, Клотильда?

Тогда она рассказала подробно, обнаруживъ большую, мелочную, чисто-женскую наблюдательность, обо всемъ, что касалось Рыбникова: о томъ, какъ его называли генераломъ Куроки, объ его японскомъ лицѣ, объ его странной нѣжности и страстности, объ его бредѣ и наконецъ о томъ, какъ онъ сказалъ слово «Банзай».

— Слушай, ты не врешь? — спросилъ быстро Ленка, и въ его темныхъ глазахъ зажглись острые искры.

— Вотъ ей-Богу! Не сойти мнѣ съ мѣста! Да ты посмотри въ замокъ — я открою ставню. Ну, вотъ — двѣ капли воды — япоонецъ!

Ленька всталъ, неторопливо, съ серьезнымъ видомъ, надѣлъ сюртукъ и заботливо ощупалъ лѣвый внутренній карманъ.

— Пойдемъ, — сказалъ онъ рѣшительно. — Съ кѣмъ онъ пріѣхалъ?

Изъ всей ночной компаніи остались только Карюковъ и Штральманъ. Но Карюкова не могли добудиться, а Штральманъ, съ оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчалъ неразборчиво:

— Какой офицеръ? Да чортъ съ нимъ совсѣмъ. Подсѣлъ онъ къ намъ въ Буффѣ, откуда онъ взялся, никто не знаетъ.

Онъ тотчасъ сталъ одѣваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышелъ. Онъ уже успѣлъ разглядѣть въ дверную щелку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какія сомнѣнія, но онъ былъ хорошимъ патріотомъ, отличался наглостью и не былъ лишенъ воображенія. Онъ рѣшилъ дѣйствовать на свой рискъ. Черезъ минуту онъ былъ уже на крыльцѣ и давалъ тревожные свистки.

VII.

Рыбниковъ внезапно проснулся, точно какой-то властный голосъ крикнулъ внутри его: встань! Полтора часа сна совершенно освѣжили его. Прежде всего онъ подозрительно уставился на дверь: ему почудилось, что кто-то слѣдилъ за нимъ оттуда пристальнымъ взглядомъ. Потомъ онъ оглянулся вокругъ. Ставня была полуоткрыта, и оттого въ комнатѣ можно было разглядѣть всякую мелочь. Женщина сидѣла напротивъ кровати у стола, безмолвная и блѣдная, глядя на него огромными свѣтлыми глазами.

— Что случилось? — спросилъ Рыбниковъ тревожно. — Послушай, что здѣсь случилось?

Она не отвѣчала. Но подбородокъ у нея задрожалъ, и зубы застучали другъ о друга.

Недовѣрчивый, жестокий блескъ зажегся въ глазахъ офицера. Онъ весь перегнулся впередъ съ кровати и наклонилъ ухо по направленію къ двери. Чьи-то многочисленные шаги, очевидно, непривычные къ осторожности, приближались по коридору и вдругъ затихли у двери.

Рыбниковъ мягкимъ, беззвучнымъ движеніемъ спрыгнулъ съ кровати и два раза повернулъ ключъ. Тотчасъ-же въ дверь постучали.

Женщина съ крикомъ опрокинулась головой на столъ, закрывъ лицо ладонями.

Въ нѣсколько минутъ штабс-капитанъ одѣлся. Въ дверь опять постучали. Съ Рыбниковымъ была только фуражка. Шашку и пальто онъ оставилъ внизу. Онъ былъ блѣденъ, но совершенно спокоенъ, даже руки у него не дрожали, когда онъ одѣвался, и всѣ движенія его были отчетливо-неторопливы и ловки. Застегнувъ послѣднюю пуговицу сюртука, онъ подошелъ къ женщинѣ и съ такой страшной силой сжалъ ея руку выше кисти, въ запястьѣ, что у нея лицо мгновенно побавровѣло отъ крови, хлынувшей въ голову.

— Ты! — сказалъ онъ тихо, гнѣвнымъ шопотомъ, не разжимая челюстей. — Если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью!..

Въ дверь снова постучались. И глухой голосъ произнесъ:

— Господинъ, соблаговолите, пожалуйста, отворить.

Теперь штабс-капитанъ не хромалъ больше. Онъ быстро и беззвучно подбѣжалъ къ окну, мягкимъ, кошачьимъ движеніемъ вскочилъ на подоконникъ, отворилъ ставни и однимъ толчкомъ распахнулъ рамы. Внизу подъ нимъ бѣлѣлъ мощный дворъ съ чахлой травой между камнями и торчали вверхъ вѣтви жидкихъ деревьевъ. Онъ не колебался ни секунды,

но въ тотъ самый моментъ, когда онъ, сидя бокомъ на желѣзной облицовкѣ подоконника, опираясь въ нее лѣвой рукой и уже свѣсивъ внизъ одну ногу, готовился сдѣлать всѣмъ тѣломъ толчокъ — женщина съ пронзительнымъ крикомъ кинулась къ нему и ухватила его за лѣвую руку. Вырываясь, онъ сдѣлалъ неловкое движеніе и вдругъ съ слабымъ, точно удивленнымъ крикомъ, неловко, нерасчетливо полетѣлъ внизъ на камни.

Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь въ комнату. Первымъ вбѣжалъ, задыхаясь, съ оскаленными зубами и горящими глазами, Ленька. За ними входили, топоча и придерживая лѣвыми руками шашки, огромные городовые. Увидавъ открытое окно и женщину, которая, уцѣпившись за раму, визжала не переставая, Ленька быстро понялъ все, что здѣсь произошло. Онъ былъ безусловно смѣлымъ человѣкомъ и потому, не задумываясь, не произнесъ ни слова, точно это заранѣе входило въ планъ его дѣйствій, онъ съ разбѣгу выпрыгнулъ въ окошко.

Онъ упалъ въ двухъ шагахъ отъ Рыбникова, который лежалъ на боку неподвижно. Несмотря на то, что у Леньки отъ паденія гудѣло въ головѣ, несмотря на страшную боль, которую онъ ощущалъ въ животѣ и пяткахъ, онъ

не потерялся и въ одинъ мигъ тяжело, всѣмъ тѣломъ навалился на штабсъ-капитана.

— А-а! Вре-ошь! — хрипѣлъ онъ, тиская свою жертву съ бѣшенымъ озлобленіемъ.

Штабсъ-капитанъ не сопротивлялся. Глаза его горѣли непримиримой ненавистью, но онъ былъ смертельно блѣденъ, и розовая пѣна пузырьками выступала на краяхъ его губъ.

— Не давите меня, — сказалъ онъ шопотомъ: — я сломалъ себѣ ногу.

О ЛЕСЯ.

Повѣсть.

Мой слуга, поваръ и спутникъ по охотѣ — полѣсовщикъ Ярмола вошелъ въ комнату, согнувшись подъ вязанкой дровъ, сбросилъ ее съ грохотомъ на полъ и подышалъ на замерзшіе пальцы.

— У, какой вѣтеръ, панычъ, на дворѣ, — сказалъ онъ, садясь на корточки передъ за-
слонкой. — Нужно хорошо въ грубкѣ про-
топить. Позвольте запалочку, панычъ.

— Значить, завтра на зайцевъ не пойдемъ, а? Какъ ты думаешь, Ярмола?

— Нѣтъ... не можно... слышите, какая завируха. Заяцъ теперь лежитъ и — а ни муръ-муръ... Завтра и одного слѣда не увидите.

Судьба забросила меня на цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ въ глухую деревушку Волынской губерніи, на окраину Полѣсья, и охота была единственнымъ моимъ занятіемъ и удовольствіемъ. Признаюсь, въ то время, когда мнѣ предложили ѣхать въ деревню, я вовсе не думалъ такъ нестерпимо скучать. Я поѣхалъ даже съ радостью. «Полѣсье... глушь... лоно

природы... простые нравы... первобытные натуры, — думалъ я, сидя въ вагонѣ: — совсѣмъ незнакомый мнѣ народъ, со странными обычаями, своеобразнымъ языкомъ... и ужъ, навѣрно, какое множество поэтическихъ легендъ, преданій и пѣсенъ!» А я въ то время (разсказывать, такъ все разсказывать) уже успѣлъ тиснуть въ одной маленькой газеткѣ разсказъ съ двумя убійствами и однимъ самоубійствомъ и зналъ теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродскіе крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умѣлъ взяться за дѣло, — отношенія мои съ ними ограничивались только тѣмъ, что, увидѣвъ меня, они еще издали снимали шапки, а поровнявшись со мной, угрюмо произносили: «гай Бугъ», что должно было означать: «помогай Богъ». Когда-же я пробовалъ съ ними разговариваться, то они глядѣли на меня съ удивленіемъ, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались цѣловать у меня руки — старый обычай, оставшійся отъ польскаго крѣпостничества.

Книжки, какія у меня были, я всѣ очень скоро перечиталъ. Отъ скуки — хотя это сначала казалось мнѣ непріятнымъ — я сдѣлалъ попытку познакомиться съ мѣстной

интеллигенціей въ лицѣ ксендза, жившаго за 15 верстъ, пана органиста, мѣстнаго урядника и конторщика сосѣдняго имѣнія изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ, но ничего изъ этого не вышло.

Потомъ я пробовалъ заняться лѣченіемъ перебродскихъ жителей. Въ моемъ распоряженіи были: касторовое масло, карболка, борная кислота, іодъ. Но тутъ, помимо моихъ скудныхъ свѣдѣній, я наткнулся на полную невозможность ставить діагнозы, потому что признаки болѣзни у всѣхъ моихъ пациентовъ были всегда одни и тѣ-же: «въ серединѣ болить» и «ни ѣсть ни пить не могу».

Приходитъ, напримѣръ, ко мнѣ старая баба. Вытеревъ со смущеннымъ видомъ носъ указательнымъ пальцемъ правой руки, она достаетъ изъ-за пазухи пару яицъ, при чемъ на секунду я вижу ея коричневую кожу, и кладетъ ихъ на столъ. Затѣмъ она начинаетъ ловить мои руки, чтобы запечатлѣть на нихъ поцѣлуй. Я прячу руки и убѣждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не попъ... мнѣ этого не полагается... Что у тебя болить?»

— Въ серединѣ у меня болить, панычу, въ самой, что ни на есть, серединѣ, такъ что даже не пить ни ѣсть не могу.

— Давно это у тебя сдѣлалось?

— А я знаю? — отвѣчаетъ она также воп-

росомъ. — Такъ и печеть, и печеть. Ни пить ни ѣсть не могу.

И, сколько я ни бьюсь, болѣе опредѣленныхъ признаковъ болѣзни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посовѣтовалъ мнѣ однажды конторщикъ изъ унтеровъ: — сами вылѣчатся. Присохнетъ, какъ на собакѣ. Я, доложу вамъ, только одно лѣкарство употребляю — нашатырь. Приходить ко мнѣ мужикъ. «Что тебѣ?» — «Я, говоритъ, больной»... Сейчасъ-же ему подъ носъ склянку нашатырнаго спирту. «Нюхай!»... Нюхаетъ... «Нюхай еще... сильнѣе!»... Нюхаетъ... «Что, легче?» — «Якъ будто полегшало»... — «Ну, такъ и ступай съ Богомъ».

Къ тому-же мнѣ претило это цѣлованіе рукъ (а иные тѣ прямо падали въ ноги и изо всѣхъ силъ стремились облобызать мои сапоги). Здѣсь сказывалось вовсе не движеніе признательнаго сердца, а просто омерзительная привычка, привитая вѣками рабства и насилія. И я только удивлялся тому-же самому конторщику изъ унтеровъ и уряднику, глядя, съ какой невозмутимой важностью суютъ они въ губы мужикамъ свои огромныя красныя лапы...

Мнѣ оставалась только охота. Но въ концѣ января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дулъ

страшный вѣтеръ, а за ночь на снѣгу закрѣплялся твердый, льдистый слой наста, по которому заяцъ пробѣгалъ, не оставляя слѣдовъ. Сидя взаперти и прислушиваясь къ вою вѣтра, я тосковалъ страшно. Понятно, я ухватился съ жадностью за такое невинное развлеченіе, какъ обученіе грамотѣ полѣсовщика Ярмолы.

Началось это, впрочемъ, довольно оригинально. Я однажды писалъ письмо и вдругъ почувствовалъ, что кто-то стоитъ за моей спиной. Обернувшись, я увидѣлъ Ярмолу, подошедшаго, какъ всегда, беззвучно въ своихъ мягкихъ постолахъ.

— Что тебѣ, Ярмола? — спросилъ я.

— Да вотъ дивлюсь, какъ вы пишете. Вотъ-бы мнѣ такъ... Нѣтъ, нѣтъ... не такъ, какъ вы, — смущенно заторопился онъ, видя что я улыбаюсь. — Мнѣ-бы только мое фамиліе...

— Зачѣмъ это тебѣ? — удивился я... (Надо замѣтить, что Ярмола считался самымъ бѣднымъ и самымъ лѣнивымъ мужикомъ во всемъ Перебродѣ; жалованье и свой крестьянскій заработокъ онъ пропивалъ; такихъ плохихъ воловъ, какъ у него, нѣтъ нигдѣ въ окрестности. По моему мнѣнію, ему-то ужъ ни въ какомъ случаѣ не могло понадобиться знаніе грамоты). Я еще разъ спросилъ съ сомнѣ-

ніемъ: — Для чего же тебѣ надо умѣть писать фамилію?

— А видите, какое дѣло, панычъ, — отвѣтилъ Ярмола необыкновенно мягко: — ни одного грамотнаго нѣтъ у насъ въ деревнѣ. Когда бумагу какую нужно подписать или въ волости дѣло, или что... никто не можетъ... Староста печать только кладетъ, а самъ не знаетъ, что въ ней напечатано... То хорошо было-бы для всѣхъ, если-бы кто умѣлъ расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — завѣдомаго браконьера, безпечнаго бродяги, съ мнѣніемъ котораго никогда даже не подумаль-бы считаться сельскій сходъ, — такая заботливость его объ общественномъ интересѣ родного села почему-то растрогала меня. Я самъ предложилъ давать ему уроки. И что-же это была за тяжелая работа — всѣ мои попытки выучить его сознательному чтенію и письму! Ярмола, знавшій въ совершенствѣ каждую тропинку своего лѣса, чуть-ли не каждое дерево, умѣвшій опознаться днемъ и ночью въ какомъ угодно мѣстѣ, различавшій по слѣдамъ всѣхъ окрестныхъ волковъ, зайцевъ и лисицъ, — этотъ самый Ярмола никакъ не могъ представить себѣ, почему, напримѣръ, буквы «м» и «а» вмѣстѣ составляютъ «ма». Обыкновенно надъ такой задачей онъ мучительно разду-

мываль минутъ десять, а то и больше, при чемъ его смуглое, худое лицо съ впалыми черными глазами, все ушедшее въ жесткую черную бороду и большіе усы, выражало крайнюю степень умственного напряженія.

— Ну скажи, Ярмола — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставаль я къ нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вотъ такъ. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхаль, клаль на столъ указку и произносиль грустно и рѣшительно:

— Нѣтъ... не могу...

— Какъ-же не можешь? Это-же вѣдь такъ легко. Скажи просто-напросто — «ма», вотъ какъ я говорю.

— Нѣтъ... не могу, паньчъ... забылъ...

Всѣ методы, приемы и сравненія разбивались объ эту чудовищную непонятливость. Но стремленіе Ярмолы къ просвѣщенію вовсе не ослабѣвало.

— Мнѣ-бы только мою фамилію! — застѣнчиво упрашиваль онъ меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилію: Ярмола Попружукъ, — и больше ничего.

Отказавшись окончательно отъ мысли выучить его разумному чтенію и письму, я сталъ учить его подписываться механически. Къ моему великому удивленію, этотъ способъ

оказался наиболѣе доступнымъ Ярмолѣ, такъ что къ концу второго мѣсяца мы уже почти осилили фамилію.. Что-же касается до имени, то его, въ виду облегченія задачи, мы рѣшили совсѣмъ отбросить.

По вечерамъ, окончивъ топку печей, Ярмола съ нетерпѣніемъ дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорилъ я.

Онъ бокомъ подходилъ къ столу, облакачивался на него локтями, просовывалъ между своими черными, закорузлыми, негибающимися пальцами перо и спрашивалъ меня, поднявъ кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно увѣренно чертилъ первую букву — «П» (эта буква у насъ носила названіе: «два стояка и сверху перекладина»); потомъ онъ смотрѣлъ на меня вопросительно:

— Что-жъ ты не пишешь? Забылъ?

— Забылъ... — досадливо качалъ головой Ярмола.

— Эхъ, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... — оживлялся Ярмола и старательно рисовалъ на бумагѣ вытянутую вверхъ фигуру, весьма похожую очертаніями на Каспійское море.

Окончивши этотъ трудъ, онъ нѣкоторое время молча любовался имъ, наклоня голову то на лѣвый, то на правый бокъ и щуря глаза.

— Что-же ты, сталъ? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчасъ.

Минуты двѣ онъ размышлялъ и потомъ робко спрашивалъ:

— Такъ-же, какъ первая?

— Вѣрно. Пиши.

Такъ мало-по-малу мы добрались до послѣдней буквы — «к» (твердый знакъ мы отвергли), которая была у насъ извѣстна, какъ «палка, а по срединѣ палки кривуля хвостомъ набокъ».

— А что вы думаете, панычу, — говорилъ иногда Ярмола, окончивъ свой трудъ и глядя на него съ любовной гордостью: — если-бы мнѣ еще мѣсяцевъ съ пять или шесть поучиться, я-бы совсѣмъ хорошо зналъ. Какъ вы скажете?

II.

Ярмола сидѣлъ на корточкахъ передъ заслонкой, перемѣшивая въ печкѣ уголья, а я ходилъ взадъ и впередъ по діагонали моей комнаты. Изъ всѣхъ двѣнадцати комнатъ огромнаго помѣщичьяго дома я занималъ только одну, бывшую диванную. Другія

стояли запертыми на ключъ, и въ нихъ неподвижно и торжественно плѣсневѣла старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столѣтія.

Вѣтеръ за стѣнами дома бѣсился, какъ старый, озябшій голый дьяволъ. Въ его ревѣ слышались стоны, визгъ и дикій смѣхъ. Мятель къ вечеру расходилась еще сильнѣе. Снаружи кто-то яростно бросалъ въ стекла оконъ горсти мелкаго сухого снѣга. Недалекій лѣсъ ропталъ и гудѣлъ съ непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Вѣтеръ забирался въ пустыя комнаты и въ печныя воющія трубы, и старый домъ, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившійся, вдругъ оживлялся странными звуками, къ которымъ я прислушивался съ невольной тревогой. Вотъ точно вздохнуло что-то въ бѣлой залѣ, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вотъ заходили и заскрипѣли гдѣ-то далеко высохшія гнилыя половицы подъ чьими-то тяжелыми и безшумными шагами. Чудится мнѣ затѣмъ, что рядомъ съ моей комнатою, въ коридорѣ, кто-то осторожно и настойчиво нажимаетъ на дверную ручку и потомъ, внезапно разъярившись, мчитъ по всему дому, бѣшено потрясая всѣми ставнями и дверьми, или, забравшись въ трубу, скулить жалобно, скучно и непрерывно, то

поднимая все выше, все тоньше свой голосъ до жалобнаго визга, то опуская его внизъ, до звѣринаго рычанья. Порою Богъ вѣсть откуда врывался этотъ страшный гость и въ мою комнату, пробѣгалъ внезапно холодомъ у меня по спинѣ и колебалъ пламя лампы, тускло свѣтившей подъ зеленымъ бумажнымъ, обгорѣвшимъ сверху, абажуромъ.

На меня нашло странное, неопредѣленное безпокойство. Вотъ, думалось мнѣ, живу я глухой и ненастной зимней ночью въ ветхомъ домѣ, среди деревни, затерявшейся въ лѣсахъ и сугробахъ, въ сотняхъ верстъ отъ городской жизни, отъ общества, отъ женскаго смѣха, отъ человѣческаго разговора... И начинало мнѣ представляться, что годы и десятки лѣтъ будетъ тянуться этотъ ненастный вечеръ, будетъ тянуться вплоть до моей смерти, и такъ же будетъ ревѣть за окнами вѣтеръ, такъ же тускло будетъ горѣть лампа подъ убогимъ зеленымъ абажуромъ, такъ же тревожно буду ходить я взадъ и впередъ по моей комнатѣ, такъ же будетъ сидѣть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола, — странное, чуждое мнѣ существо, равнодушное ко всему на свѣтѣ: и къ тому, что у него дома въ семьѣ ѣсть нечего, и къ бушеванію вѣтра, и къ моей неопредѣленной, разъѣдающей тоскѣ.

Мнѣ вдругъ нестерпимо захотѣлось нарушить это томительное молчаніе какимъ-нибудь подобіемъ человѣческаго голоса, и я спросилъ:

— Какъ ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой вѣтеръ?

— Вѣтеръ? — отозвался Ярмола, лѣниво подымая голову. — А панычъ развѣ не знаетъ?

— Конечно, не знаю. Откуда-же мнѣ знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдругъ Ярмола. — Это я вамъ скажу, — продолжалъ онъ съ таинственнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ: — это я вамъ скажу: чи вѣдьмака народилась, чи вѣдьмакъ веселье справляетъ.

— Вѣдьмака — это колдунья по-вашему?

— А такъ, такъ... колдунья.

Я съ жадностью накинулся на Ярмолу. «Почемъ знать, — думалъ я: — можетъ-быть, сейчасъ-же мнѣ удастся выжать изъ него какую-нибудь интересную исторію, связанную съ волшебствомъ, съ зарытыми кладами, съ вовкулаками?..»

— Ну, а у васъ здѣсь, въ Полѣсьѣ, есть вѣдьмы? — спросилъ я.

— Не знаю... Можетъ, есть, — отвѣтилъ Ярмола съ прежнимъ равнодушіемъ и опять нагнулся къ печкѣ. — Старые люди говорятъ, что были когда-то... Можетъ, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чер-

той Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уже не надѣялся добиться отъ него ничего больше объ этомъ интересномъ предметѣ. Но, къ моему удивленію, онъ вдругъ заговорилъ съ лѣнивой небрежностью и какъ будто-бы обращаясь не ко мнѣ, а къ гудѣвшей печкѣ:

— Была у насъ лѣтъ пять тому назадъ такая вѣдьма... Только ее хлопцы съ села прогнали!

— Куда-же они ее прогнали?

— Куда!.. Извѣстно, въ лѣсъ... Куда-же еще? И хату ея сломали, чтобы отъ того проклятаго кубла и щепокъ не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шеѣ.

— За что-же такъ съ ней обошлись?

— Вреда отъ нея много было: ссорилась со всѣми, зелье подъ хаты подливала, закрутки вязала въ житѣ... Одинъ разъ просила она у нашей молодежи злотъ (15 к.). Та ей говоритъ: «Нѣтъ у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говоритъ, будешь ты помнить, какъ мнѣ злотаго не дала...» И что-же вы думаете, паньчу: съ тѣхъ самыхъ поръ стало у молодежи дитя болѣть. Болѣло, болѣло, да и совсѣмъ умерло. Вотъ тогда хлопцы вѣдьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазятъ...

— Ну, а гдѣ-же теперь эта вѣдьмака? — продолжалъ я любопытствовать.

— Вѣдьмака? — медленно переспросилъ, по своему обыкновенію, Ярмола. — А я знаю?

— Развѣ у нея не осталось въ деревнѣ какой-нибудь родни?

— Нѣтъ, не осталось. Да она чужая была, изъ кацапокъ, чи изъ цыгановъ... Я еще маленькимъ хлопцемъ былъ, когда она пришла къ намъ на село. И дѣвочка съ ней была: дочка или внучка... Обѣихъ прогнали...

— А теперь къ ней развѣ никто не ходитъ: погадать тамъ или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бѣгаютъ, — пренебрежительно уронилъ Ярмола.

— Ага! Значить, все-таки извѣстно, гдѣ она живетъ?

— Я не знаю... Говорятъ люди, что гдѣ-то около Бисова Кута она живетъ... Знаете — болото, что за Ириновскимъ шляхомъ. Такъ вотъ въ этомъ болотѣ она и сидитъ, трясущая матеря!

«Вѣдьма живетъ въ какихъ-нибудь десяти верстахъ отъ моего дома... настоящая, живая, полѣсская вѣдьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я къ полѣсовщику: — а какъ-бы мнѣ съ ней познакомиться, съ этой вѣдьмой?

— Тфу! — сплюнулъ съ негодованіемъ Ярмола. — Вотъ еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я къ ней все равно пойду. Какъ только немного потеплѣетъ, сейчасъ-же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу такъ поразили послѣдніи слова, что онъ даже вскочилъ съ полу.

— Я?! — воскликнулъ онъ съ негодованіемъ. — А и ни за что! Пусть оно тамъ Богъ вѣдаетъ что, а я не пойду.

— Ну вотъ глупости, пойдешь.

— Нѣтъ, паньчу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! — опять воскликнулъ онъ, охваченный новымъ наплывомъ возмущенія: — чтобы я пошелъ до вѣдьмачьяго кубла? Да пусть меня Богъ боронить. И вамъ не совѣтую, паньчъ.

— Какъ хочешь... а я все-таки пойду. Мнѣ очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего тамъ нѣтъ любопытнаго, — пробурчалъ Ярмола, съ сердцемъ захлопывая печную дверку.

Часъ спустя, когда онъ, уже убравъ самоваръ и напившись въ темныхъ сѣняхъ чаю, собирался итти домой, я спросилъ:

— Какъ зовутъ эту вѣдьму?

— Мануйлиха, — отвѣтилъ Ярмола съ грубой мрачностью.

Онъ хотя и не высказывалъ никогда своихъ чувствъ, но, кажется, сильно ко мнѣ привязался; привязался за нашу общую страсть къ охотѣ, за мое простое обращеніе, за помощь, которую я изрѣдка оказывалъ его вѣчно голодающей семьѣ, а главнымъ образомъ за то, что я одинъ на всемъ свѣтѣ не корилъ его пьянствомъ, чего Ярмола терпѣть не могъ. Поэтому моя рѣшимость познакомиться съ вѣдьмой привела его въ отвратительное настроеніе духа, которое онъ выразилъ только усиленнымъ сопѣніемъ да еще тѣмъ, что, выйдя на крыльцо, изъ всей силы ударилъ ногой въ бокъ свою собаку — Рябчика. Рябчикъ отчаянно завизжалъ и отскочилъ въ сторону, но тотчасъ-же побѣжалъ вслѣдъ за Ярмолой, не переставая скулить.

III.

Дня черезъ три потеплѣло. Однажды утромъ, очень рано, Ярмола вошелъ въ мою комнату и заявилъ небрежно:

— Нужно ружья почистить, панычъ.

— А что? — спросилъ я, потягиваясь подъ одѣяломъ.

— Заяцъ ночью сильно походилъ: слѣдовъ много. Можетъ, пойдёмъ на пановку?

Я видѣлъ, что Ярмолъ не терпится скорѣе пойти въ лѣсъ, но онъ скрываетъ это страстное желаніе охотника подъ напускнымъ равнодушіемъ. Дѣйствительно въ передней уже стояла его одностволка, отъ которой не ушелъ еще ни одинъ бекасъ, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена нѣсколькими оловянными заплатами, наложенными въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ржавчина и пороховые газы проѣли желѣзо.

Едва войдя въ лѣсъ, мы тотчасъ-же напали на заячій слѣдъ: двѣ лапки рядомъ и двѣ позади одна за другой. Заяцъ вышелъ на дорогу, прошелъ по ней сажень двѣсти и сдѣлалъ съ дороги огромный прыжокъ въ сосновый молоднякъ.

— Ну, теперь будемъ обходить его, — сказалъ Ярмола. — Какъ далъ столба, такъ тутъ сейчасъ и ляжетъ. Вы, панычъ, идите... — Онъ задумался, соображая по какимъ-то ему одному извѣстнымъ примѣтамъ, куда меня направить... — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду отъ Замлына. Какъ только собака его выгонитъ, я буду гукать вамъ.

И онъ тотчасъ-же скрылся, точно нырнулъ въ густую чащу мелкаго кустарника. Я прислушался. Ни одинъ звукъ не выдалъ его браконьерской походки, ни одна вѣточка

не треснула подъ его ногами, обутыми въ лыковые постолы.

Я неторопливо дошелъ до старой корчмы— нежилой, развалившейся хаты, и сталъ на опушкѣ хвойнаго лѣса, подъ высокой сосной съ прямымъ голымъ стволомъ. Было такъ тихо, какъ только бываетъ въ лѣсу зимою, въ безвѣтрный день. Нависшіе на вѣтвяхъ пышные комья снѣга давили ихъ книзу, придавая имъ чудесный, праздничный и холодный видъ. По временамъ срывалась съ вершины тоненькая вѣточка, и чрезвычайно ясно слышалось, какъ она, падая, съ легкимъ трескомъ задѣвала за другія вѣтви. Снѣгъ розовѣлъ и синѣлъ въ тѣни. Мной овладѣло тихое очарованіе этого торжественнаго, холоднаго безмолвія, и мнѣ казалось, что я чувствую, какъ время медленно и безшумно проходитъ мимо меня...

Вдругъ далеко, въ самой чащѣ, раздался лай Рябчика, — характерный лай собаки, идущей за звѣремъ: тоненькій, залихватый и нервный, почти переходящій въ визгъ. Тотчасъ же услышалъ я и голосъ Ярмолы, кричавшаго съ ожесточеніемъ вслѣдъ собакѣ: «У — бый! У — бый!», первый слогъ — протяжнымъ рѣзкимъ фальцетомъ, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этотъ охотничій полѣсскій

крикъ происходитъ отъ глагола «убивать»).

Мнѣ казалось, судя по направленію лая, что собака гонитъ влѣво отъ меня, и я торопливо побѣжалъ черезъ полянку, чтобы перехватить звѣря. Но не успѣлъ я сдѣлать и двадцати шаговъ, какъ огромный сѣрый заяцъ выскочилъ изъ-за пня и, какъ будто-бы не торопясь, заложивъ назадъ длинныя уши, высокими, рѣдкими прыжками перебѣжалъ черезъ дорогу и скрылся въ молоднякѣ. Слѣдомъ за нимъ стремительно вылетѣлъ Рябчикъ. Увидѣвъ меня, онъ слабо махнулъ хвостомъ, торопливо куснулъ нѣсколько разъ зубами снѣгъ и опять погналъ зайца.

Ярмола вдругъ такъ-же безшумно вынырнулъ изъ чащи.

— Что-же вы, панычъ, не стали ему на дорогу? — крикнулъ онъ и укоризненно зачмокалъ языкомъ.

— Да вѣдь далеко было... больше двухсотъ шаговъ.

Видя мое смущеніе, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего... Онъ отъ насъ не уйдетъ. Идите на Ириновскій шляхъ, — онъ сейчасъ туда выйдетъ.

Я пошелъ по направленію Ириновскаго шляха и уже черезъ минуты двѣ услышалъ, что собака опять гонитъ гдѣ-то недалеко отъ

меня. Охваченный охотничьимъ волненіемъ, я побѣжалъ, держа ружье наперевѣсь, сквозь густой кустарникъ, ломая вѣтви и не обращая вниманія на ихъ жестокіе удары. Я бѣжалъ такъ довольно долго и уже сталъ задыхаться, какъ вдругъ лай собаки прекратился. Я пошелъ тише. Мнѣ казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встрѣчусь съ Ярмолой на Ириновскомъ шляху. Но вскорѣ я убѣдился, что во время моего бѣга, огибая кусты и пни и совсѣмъ не думая о дорогѣ, я заблудился. Тогда я началъ кричать Ярмолѣ. Онъ не откликнулся.

Между тѣмъ машинально я шелъ все дальше. Лѣсъ рѣдѣлъ понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. Слѣдъ, оттиснутый на снѣгу моей ногой, быстро темнѣлъ и наливался водой. Нѣсколько разъ я уже проваливался по колѣна. Мнѣ приходилось перепрыгивать съ кочки на кочку; въ покрывавшемъ ихъ густомъ буромъ мху ноги тонили точно въ мягкомъ коврѣ.

Кустарникъ скоро совсѣмъ окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снѣгомъ, изъ-подъ бѣлой пелены котораго торчали рѣдкія кочки. На противоположномъ концѣ болота, между деревьями, выглядывали бѣлыя стѣны какой-то хаты. «Вѣроятно, здѣсь живетъ ириновскій

лѣсникъ, — подумаль я. — Надо зайти и разспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не такъ-то легко. Всякую минуту я увязаль въ трясинѣ. Сапоги мои набирали воды и при каждомъ шагѣ громко хлюпали; становилось невмочь тянуть ихъ за собой.

Наконецъ я перебрался черезъ это болото, взобрался на маленькій пригорокъ и теперь могъ хорошо разсмотрѣть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьихъ ножкахъ. Она не касалась поломъ земли, а была построена на сваяхъ, выростно, въ виду половодья, затопляющаго весною весь Ириновскій лѣсъ. Но одна сторона ея отъ времени осѣла, и это придавало избушкѣ хромой и печальный видъ. Въ окнахъ не доставало нѣсколькихъ стеколъ; ихъ замѣняли какія-то грязныя ветошки, выпиравшіяся горбомъ наружу.

Я нажалъ на клямку и отворилъ дверь. Въ хатѣ было очень темно, а у меня, послѣ того, какъ я долго глядѣлъ на снѣгъ, ходили передъ глазами фіолетовые круги; поэтому я долго не могъ разобратъ, есть-ли кто-нибудь въ хатѣ.

— Эй, добрые люди, кто изъ васъ дома? — спросилъ я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошелъ

поближе и увидалъ старуху, сидѣвшую на полу. Передъ ней лежала огромная куча куриныхъ перьевъ. Старуха брала отдѣльно каждое перо, сдирала съ него бородку и клала пухъ въ корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да вѣдь это — Мануйлиха, ириновская вѣдьма», — мелькнуло у меня въ головѣ, едва я только повнимательнѣе взглянулъ въ старуху. Всѣ черты бабы-яги, какъ ее изображаетъ народный эпосъ, были налицо: худыя щеки, втянутыя внутрь, переходили внизу въ острый, длинный, дряблый подбородокъ, почти соприкасавшійся съ висящимъ внизъ носомъ; провалившійся беззубый ротъ безпрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцвѣтшіе, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, съ очень короткими красными вѣками, глядѣли точно глаза невиданной зловѣщей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказалъ я какъ можно привѣтливѣе. — Тебя ужъ не Мануйлихой-ли зовутъ?

Въ отвѣтъ что-то заклокотало и захрипѣло въ груди у старухи; потомъ изъ ея беззубаго, шамкающаго рта вырвались странные звуки, то похожіе на задыхающееся карканье старой вороны, то вдругъ переходящіе въ сиплую, обрывающуюся фистулу:

— Прежде, можетъ, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовутъ зовуткой, а величаютъ уткой. Тебѣ что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразнаго занятія.

— Да вотъ, бабушка, заблудился я. Можетъ, у тебя молоко найдется?

— Нѣтъ молока, — сердито отрѣзала старуха. — Много васъ по лѣсу ходитъ.. Всѣхъ не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая-же ты до гостей.

— И вѣрно, батюшка: совсѣмъ неласковая Разносоловъ для васъ не держимъ. Усталъ — посиди, никто тебя изъ хаты не гонитъ. Знаешь, какъ въ пословицѣ говорится: «Приходите къ намъ на завалинкѣ посидѣть, у нашего праздника звона послушать, а обѣдать къ вамъ мы и сами догадаемся». Такъ-то вотъ...

Эти обороты рѣчи сразу убѣдили меня, что старуха дѣйствительно пришла въ этомъ краѣ; здѣсь не любятъ и не понимаютъ хлесткой, уснащенной рѣдкими словцами рѣчи, которой такъ охотно щеголяетъ краснобай-сѣверянинъ. Между тѣмъ старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себѣ подъ носъ, но все тише и невнятнѣе. Я разбиралъ только отдѣльные

слова, не имѣвшія между собой никакой связи: «Вотъ тебѣ и бабушка Мануйлиха... А кто такой — невѣдомо... Лѣта-то мои не маленькія... Ногами егозить, стрекочить, сокочить — чистая сорока...»

Я нѣкоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливаго страха.

Однако я успѣлъ осмотрѣться вокругъ себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образовъ въ переднемъ углу не было. По стѣнамъ, вмѣсто обычныхъ охотниковъ съ зелеными усами и фіолетовыми собаками и портретовъ никому невѣдомыхъ генераловъ, висѣли пучки засушенныхъ травъ, связки сморщенныхъ корешковъ и кухонная посуда. Ни совы, ни чернаго кота я не замѣтилъ, но зато съ печки два рябыхъ солидныхъ скворца глядѣли на меня съ удивленнымъ и недовѣрчивымъ видомъ.

— Бабушка, а воды-то у васъ по крайней мѣрѣ можно напиться? — спросилъ я, возвышая голосъ.

— А вонъ, въ кадкѣ, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодаривъ старуху (на что она не обратила

ни малѣйшаго вниманія), я спросилъ ее, какъ мнѣ выйти на шляхъ.

Она вдругъ подняла голову, поглядѣла на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодецъ, своей дорогой. Нечего тутъ тебѣ дѣлать. Хорошъ гость въ гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мнѣ дѣйствительно ничего больше не оставалось, какъ уйти. Но вдругъ мнѣ пришло въ голову попытать послѣднее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынулъ изъ кармана новый серебряный четвертакъ и протянулъ его Мануйлихѣ. Я не ошибся: при видѣ денегъ старуха зашевелилась, глаза ея раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нѣтъ, бабка Мануйлиха, даромъ не дамъ, — поддразнилъ я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мнѣ.

Коричневое, сморщенное лицо колдуньи собралось въ недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерѣшительно глядѣла на мой кулакъ, гдѣ были зажаты деньги. Но жадность взяла верхъ.

— Ну, ну, пойдемъ, что-ли, пойдемъ, — прошамкала она, съ трудомъ подымаясь съ полу. — Никому я не ворожу теперь, каса-

тикъ... Забыла... Стара стала, глаза не видятъ. Только для тебя развѣ.

Держась за стѣну, сотрясаясь на каждомъ шагу сгорбленнымъ тѣломъ, она подошла къ столу, достала колоду бурыхъ, распухшихъ отъ времени картъ, стасовала ихъ и придвинула ко мнѣ.

— Сыми-ка... Лѣвой ручкой сыми... Отъ сердца...

Поплевавъ на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на столъ съ такимъ звукомъ, какъ будто-бы онѣ были сваляны изъ тѣста, и укладывались въ правильную восьмиконечную звѣзду. Когда послѣдняя карта легла рубашкой вверхъ на короля, Мануйлиха протянула ко мнѣ руку.

— Позолоти, баринъ хорошій... Счастливъ будешь, богатъ будешь... — запѣла она попрошайническимъ, чисто-цыганскимъ тономъ.

Я сунулъ ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интересъ тебѣ выходить черезъ дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встрѣча съ бубновой дамой и какой-то пріятный разговоръ въ важномъ домѣ. Въ скорости получишь неожиданное извѣстіе отъ трефоваго короля. Падаютъ тебѣ какія-то хлопоты, а потомъ опять

падаютъ какія-то небольшія деньги. Будешь въ большой компаніи, пьянъ будешь... Не такъ, чтобы очень сильно, а все-таки выходить тебѣ выпивка. Жизнь твоя будетъ долгая. Если въ 67 лѣтъ не умрешь, то...

Вдругъ она остановилась, подняла голову, точно къ чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женскій голосъ, свѣжій, звонкій и сильный, пѣлъ, приближаясь къ хатѣ. Я тоже узналъ слова граціозной мало-русской пѣсенки:

Ой чи цвить, чи ни цвить
Калиноньку ломить.
Ой чи сонъ, чи не сонъ
Головоньку клонить.

— Ну иди, иди теперь, соколикъ, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой отъ стола. — Нечего тебѣ по чужимъ хатамъ околачиваться. Иди, куда шель...

Она даже ухватила меня за рукавъ моей куртки и тянула къ двери. Лицо ея выражало какое-то звѣриное беспокойство.

Голосъ, пѣвшій пѣсню, вдругъ оборвался совсѣмъ близко около хаты, громко звякнула желѣзная клямка, и въ просвѣтъ быстро распахнувшейся двери показалась рослая смѣющаяся дѣвушка. Обѣими руками она бережно поддерживала полосатый передникъ, изъ ко-

тораго выглядывали три крошечныхъ птичьихъ головки съ красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, — воскликнула она, громко смѣясь: — посмотри, какіе смѣшные... Голодные совсѣмъ. А у меня, какъ нарочно, хлѣба съ собой не было.

Но, увидѣвъ меня, она замолчала и вспыхнула густымъ румянцемъ. Ея тонкія черныя брови недовольно сдвинулись, а глаза съ вопросомъ обратились на старуху.

— Вотъ баринъ зашелъ... Пытаетъ дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — съ рѣшительнымъ видомъ обернулась она ко мнѣ: — будетъ тебѣ прохладжаться. Напился водицы, поговорилъ, да пора и честь знать. Мы тебѣ не компанія...

— Послушай, красавица, — сказалъ я дѣвушкѣ. — Покажи мнѣ, пожалуйста, дорогу на Ириновскій шляхъ, а то изъ вашего болота во вѣки вѣковъ не выберешься.

Должно-быть, на нее подѣйствовалъ мягкій, просительный тонъ, который я придалъ этимъ словамъ. Она бережно посадила на печку, рядомъ со скворцами, своихъ зябликовъ, бросила на лавку скинутую короткую свитку и молча вышла изъ хаты.

Я послѣдовалъ за ней.

— Это у тебя все ручныя птицы? — спросилъ я, догоняя дѣвушку.

— Ручныя, — отвѣтила она отрывисто и даже не взглянувъ на меня. — Ну вотъ, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вонъ, вонъ, между соснами? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Какъ дойдете до дубовой колоды, повернете налѣво. Такъ прямо все лѣсомъ, лѣсомъ и идите. Тутъ сейчасъ вамъ и будетъ Ириновскій шляхъ.

Въ то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мнѣ направленіе дороги, я невольно залюбовался ею. Въ ней не было ничего похожаго на мѣстныхъ «дивчатъ», лица которыхъ подъ уродливыми повязками, прикрывающими сверху лобъ, а снизу ротъ и подбородокъ, носятъ такое однообразное, испуганное выраженіе. Моя незнакомка, высокая брюнетка лѣтъ около 20 — 25, держалась легко и стройно. Просторная бѣлая рубаха свободно и красиво обвивала ея молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ея лица, разъ его увидѣвъ, нельзя было позабыть, но трудно было даже привыкнуть къ нему, его описать. Прелесть его заключалась въ этихъ большихъ, блестящихъ, темныхъ глазахъ, которымъ тонкія, надломленные посрединѣ брови придавали

неуловимый оттѣнокъ лукавства, властности и наивности; въ смугло-розовомъ тонѣ кожи, въ своевольномъ изгибѣ губъ, изъ которыхъ нижняя, нѣсколько болѣе полная, выдавалась впередъ съ рѣшительнымъ и капризнымъ видомъ.

— Неужели вы не боитесь жить однѣ въ такой глуши? — спросилъ я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего-же намъ бояться? Волки сюда не заходятъ.

— Да развѣ волки одни... Снѣгомъ васъ занести можетъ, пожаръ можетъ случиться... И мало-ли что еще. Вы здѣсь однѣ, вамъ и помочь никто не успѣетъ.

— И слава Богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Какъ-бы насъ съ бабкой вовсе въ покоѣ оставили, такъ лучше-бы было, а то...

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрѣзала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вѣроятно, и старуха и эта красавица боятся какихъ-нибудь утѣсненій со стороны «предержавшихъ», и поспѣшилъ ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни

урядникъ, ни писарь, ни акцизный, словомъ — я никакое начальство.

— Нѣтъ, вы правду говорите?

— Даю тебѣ честное слово. Ей-Богу, я самый посторонній человѣкъ. Просто, пріѣхалъ сюда погостить на нѣсколько мѣсяцевъ, а тамъ и уѣду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что былъ здѣсь и видѣлъ васъ. Ты мнѣ вѣришь?

Лицо дѣвушки немного прояснилось.

— Ну, значить, коль не врите, такъ правду говорите. А вы какъ: раньше объ насъ слышали или сами зашли?

— Да я и самъ не знаю, какъ тебѣ сказать... Слышать-то я слышалъ, положимъ, и даже хотѣлъ когда-нибудь забрести къ вамъ, а сегодня зашелъ случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вамъ злого дѣлаютъ?

Она поглядѣла на меня съ испытующимъ недоумѣемъ. Но совѣсть у меня была чиста, и я, не сморгнувъ, выдержалъ этотъ пристальный взглядъ. Тогда она заговорила съ возрастающимъ волненіемъ:

— Плохо намъ отъ нихъ приходится... Простые люди еще ничего, а вотъ начальство... Пріѣдетъ урядникъ — тащить, пріѣдетъ становой — тащить. Да еще прежде, чѣмъ взять-то, надъ бабкой надругается: ты, говоритъ, вѣдь-

ма, чертовка, каторжница... Эхъ! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопросъ.

Она съ надменной самоувѣренностью повела головой снизу вверхъ, и въ ея сузившихся глазахъ мелькнуло злое торжество...

— Не трогаютъ... Одинъ разъ сунулся ко мнѣ землемѣръ какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотѣлось... Такъ, должно-быть, и до сихъ поръ не забылъ, какъ я его приласкала.

Въ этихъ насмѣшливыхъ, но своеобразно-гордыхъ словахъ прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумалъ: «Однако недаромъ ты выросла среди полѣсского бора, — съ тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы развѣ трогаемъ кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мнѣ все большимъ довѣріемъ. — Намъ и людей не надо. Разъ въ годъ только схожу я въ мѣстечко купить мыла да соли... Да вотъ еще бабушкѣ чаю, — чай она у меня любить. А то хоть-бы и вовсе никого не видѣть.

— Ну, я вижу, вы съ бабушкой людей не жалуете... А мнѣ можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмѣялась и — какъ странно, какъ неожиданно измѣнилось ея красивое лицо! Прежней суровости въ немъ и слѣда не оста-

лось: оно вдругъ сдѣлалось свѣтлымъ, застѣнчивымъ, дѣтскимъ.

— Да что у насъ вамъ дѣлать? Мы съ бабкой скучныя... Что-жъ, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человѣкъ. Тѣлько вотъ что... вы ужъ если когда къ намъ забредете, такъ безъ ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мнѣ бояться? Ничего я не боюсь, — и въ ея голосъ опять слышалась увѣренность въ своей силѣ. — А только не люблю я этого. Зачѣмъ бить пташекъ или вотъ зайцевъ тоже. Никому они худого не дѣлаютъ, а жить имъ хочется такъ-же, какъ и намъ съ вами. Я ихъ люблю: они маленькіе, глупые такіе... Ну, однако до свиданія, — заторопилась она: — не знаю, какъ величать-то васъ по имени... Боюсь, бабка браниться станетъ.

И она легко и быстро побѣжала въ хату, наклонивъ внизъ голову и придерживая руками разбившіеся отъ вѣтра волосы.

— Постой, постой! — крикнулъ я. — Какъ тебя зовутъ-то? Ужъ будемъ знакомы какъ слѣдуетъ.

Она остановилась на мгновенье и обернулась ко мнѣ.

— Аленой меня зовутъ... По-здѣшнему — Олеся.

Я вскинулъ ружье на плечи и пошелъ по

указанному мнѣ направленію. Поднявшись на небольшой холмикъ, откуда начиналась узкая едва замѣтная лѣсная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая вѣтромъ, еще виднѣлась на крыльцѣ хаты, выдѣляясь яркимъ пятномъ на ослѣпительно-бѣломъ, ровномъ фонѣ снѣга.

Черезъ часъ послѣ меня пришелъ домой Ярмола. По своей обычной неохотѣ къ праздному разговору, онъ ни слова не спросилъ меня о томъ, какъ и гдѣ я заблудился. Онъ только сказалъ какъ будто-бы вскользь:

— Тамъ... я зайца на кухню занесъ... жарить будемъ, или пошлете кому-нибудь?

— А вѣдь ты не знаешь, Ярмола, гдѣ я былъ сегодня? — сказалъ я, заранѣе представляя себѣ удивленіе полѣсовщика.

— Отчего-же мнѣ не знать? — грубо проворчалъ Ярмола. — Извѣстно, къ вѣдьмакамъ ходили...

— Какъ-же ты узналъ это?

— А почему-же мнѣ не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на вашъ слѣдъ... Эхъ, паны-ычъ! — прибавилъ онъ съ укоризненной досадой. — Не слѣдуетъ вамъ такими дѣлами заниматься... Грѣхъ!..

IV.

Весна наступила въ этомъ году ранняя, дружная и — какъ всегда на Полѣсьѣ — неожиданная. Побѣждали по деревенскимъ улицамъ бурливые, коричневые, сверкающіе ручейки, сердито пѣнясь вокругъ встрѣчныхъ каменьевъ и быстро вертя щепки и гусиный пухъ; въ огромныхъ лужахъ воды отразилось голубое небо съ плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, бѣлыми облаками; съ крышъ посыпались частыя звонкія капли. Воробьи, стоями обсыпавшіе придорожныя ветлы, кричали такъ громко и возбужденно, что ничего нельзя было слышать за ихъ крикомъ. Вездѣ чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снѣгъ сошелъ, оставшись еще кое-гдѣ грязными рыхлыми клочками въ лощинахъ и тѣнистыхъ перелѣскахъ. Изъ-подъ него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свѣжихъ соковъ, полная жажды новаго материнства. Надъ черными нивами вился легкій парокъ, наполнявшій воздухъ запахомъ оттаявшей земли, — тѣмъ свѣжимъ, вкрадчивымъ и могучимъ, пьянымъ запахомъ весны, который даже и въ городѣ узнаешь среди сотенъ дру-

гихъ запаховъ. Мнѣ казалось, что вмѣстѣ съ этимъ ароматомъ вливалась въ мою душу весенняя грусть, сладкая и нѣжная, исполненная безпокойныхъ ожиданій и смутныхъ предчувствій,— поэтическая грусть, дѣлающая въ вашихъ глазахъ всѣхъ женщинъ хорошенкими и всегда приправленная неопредѣленными сожалѣніями о прошлыхъ вѣснахъ. Ночи стали теплѣе; въ ихъ густомъ влажномъ мракѣ чувствовалась незримая, спѣшная творческая работа природы...

Въ эти весенніе дни образъ Олеси не выходилъ изъ моей головы. Мнѣ нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и безпрестанно вызывать въ своемъ воображеніи ея то суровое, то лукавое, то сіяющее нѣжной улыбкой лицо, ея молодое тѣло, выросшее въ привольѣ стараго бора такъ-же стройно и такъ-же могуче, какъ растутъ молодая елочки, ея свѣжій голосъ съ неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всѣхъ ея движеніяхъ, въ ея словахъ, — думалъ я:— есть что-то благородное (конечно, въ лучшемъ смыслѣ этого довольно пошлаго слова), какая-то врожденная изящная умѣренность...» Также привлекалъ меня къ Олесѣ и нѣкоторый ореолъ окружавшей ее таинственности, суевѣрная репутація вѣдьмы, жизнь въ лѣсной чашѣ среди болота и въ

особенности — эта гордая увѣренность въ своихъ силахъ, сквозившая въ немногихъ обращенныхъ ко мнѣ словахъ.

Нѣтъ ничего мудренаго, что, какъ только немного просохли лѣсныя тропинки, я отправился въ избушку на курьихъ ножкахъ. На случай, если-бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватилъ съ собою полфунта чаю и нѣсколько пригоршенъ кусковъ сахару.

Я засталъ обѣихъ женщинъ дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла ленъ, сидя на очень высокой скамейкѣ; когда я, входя, стукнулъ дверью, она обернулась, нитка оборвалась подъ ея руками, и веретено покатилося по полу.

Старуха нѣкоторое время внимательно и сердито вглядывалась въ меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью отъ жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказалъ я громкимъ, бодрымъ голосомъ. — Не узнаешь, должно-быть, меня? Помнишь, я въ прошломъ мѣсяцѣ заходилъ про дорогу спрашивать? Ты мнѣ еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно трясая головой: — ничего не помню. И что ты у насъ позабылъ, — никакъ не пойму. Что мы тебѣ за компанія? Мы люди простые, сѣрые... Нечего тебѣ у насъ

дѣлать. Лѣсъ великъ, есть мѣсто, гдѣ разойтись... такъ-то...

Ошеломленный нелюбезнымъ пріемомъ, я совсѣмъ потерялся и очутился въ томъ глупомъ положеніи, когда не знаешь, что дѣлать: обратиться-ли грубость въ шутку, или самому разсердиться, или, наконецъ, не сказавъ ни слова, повернуться и уйти назадъ. Невольно я повернулся съ безпомощнымъ выраженіемъ къ Олесѣ. Она чуть-чуть улыбнулась съ отѣнкомъ незлой насмѣшки, встала изъ-за прялки и подошла къ старухѣ.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно: — это не лихой человѣкъ, онъ намъ худого не сдѣлаетъ. Милости просимъ садиться, — прибавила она, указывая мнѣ на лавку въ переднемъ углу и не обращая болѣе вниманія на воркотню старухи.

Ободренный ея вниманіемъ, я догадался выдвинуть самое рѣшительное средство.

— Какая-же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порогъ, а ты сейчасъ и бранишься. А я-было тебѣ гостинцу принесъ, — сказалъ я, доставая изъ сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взглядъ на свертки, но тотчасъ-же отвернулась къ печкѣ.

— Никакихъ мнѣ твоихъ гостинцевъ не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаемъ мы тоже

гостей этихъ. Сперва безъ мыла въ душу лѣзутъ, а потомъ... Что у тебя въ кулечкѣ-то? — вдругъ обернулась она ко мнѣ.

Я тотчасъ-же вручилъ ей чай и сахаръ. Это подѣйствовало на старуху смягчающимъ образомъ, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не въ прежнемъ, непримиримомъ тонѣ.

Олеся сѣла опять за пряжу, а я помѣстился около нея, на низкой, короткой и очень шаткой скамеечкѣ. Лѣвой рукой Олеся быстро сучила бѣлую, мягкую, какъ шелкъ, кудель, а въ правой у нея съ легкимъ жужжаніемъ крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и короткимъ движеніемъ пальцевъ опять заставляла вертѣться. Эта работа, такая простая на первый взглядъ, но, въ сущности, требующая огромнаго, многолѣтняго навыка и ловкости, такъ и кипѣла въ ея рукахъ. Невольно я обратилъ вниманіе на эти руки: онѣ загрубѣли и почернѣли отъ работы, но были невелики и такой красивой формы, что имъ позавидовали-бы многія благовоспитанныя дѣвицы.

— А вотъ вы мнѣ тогда и не сказали, что вамъ бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назадъ, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на

ухо туга, не услышать. Она только мой голос хорошо разбираетъ.

— Да, гадала. А что?

— Да такъ себѣ... Просто спрашиваю... А вы вѣрите? — кинула она на меня украдкой быстрый взглядъ.

— Чему? Тому, что твоя бабка мнѣ гадала, или вообще?

— Нѣтъ, вообще...

— Какъ сказать, вѣрнѣе будетъ, что не вѣрю, все-таки почему знать? Говорятъ, бываютъ случаи... Даже въ умныхъ книгахъ объ нихъ напечатано. А вотъ тому, что твоя бабка говорила, такъ совсѣмъ не вѣрю. Такъ и любая баба деревенская сумѣетъ поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадаетъ. Стара стала, да боится она очень. А что вамъ карты сказали?

— Ничего интереснаго не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорятъ: дальняя дорога, трефовый интересъ... Я и позабылъ даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многія позабыла отъ старости... Куда-жъ ей? Да и опасается она. Развѣ только деньги увидеть, такъ согласится.

— Чего-же она боится?

— Извѣстно чего, — начальства боится...

Урядникъ прїѣдетъ, такъ завсегда грозить: «Я говорить, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорить, что вѣшему брату за чародѣйство полагается? Ссылка въ каторжную работу, безъ сроку, на Соколиный островъ». Какъ вы думаете, вретъ онъ это или нѣтъ?

— Нѣтъ, врать онъ не вретъ; дѣйствительно за это что-то полагается, но уже не такъ страшно... Ну, а ты, Олеся, умѣешь гадать?

Она какъ будто-бы немного замялась, но всего лишь на мгновеніе.

— Гадаю... Только не за деньги, — добавила она поспѣшно.

— Можетъ-быть, ты и мнѣ кинешь карты?

— Нѣтъ, — тихо, но рѣшительно отвѣтила она, покачавъ головой.

— Почему-же ты не хочешь? Ну, не теперь, такъ когда-нибудь послѣ... Мнѣ почему-то кажется, что ты мнѣ правду скажешь.

— Нѣтъ. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, ужъ это нехорошо, Олеся. Ради перваго знакомства нельзя отказывать... Почему ты несогласна?

— Потому что я на васъ уже бросала карты, въ другой разъ нельзя...

— Нельзя? Отчего-же? Я этого не понимаю.

— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя... нельзя... — зашептала она съ суевѣрнымъ страхомъ. —

Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнаетъ, подслушаетъ... Судьба не любить, когда ее спрашиваютъ. Оттого всѣ ворожки несчастныя.

Я хотѣлъ отвѣтить Олесѣ какой-нибудь шуткой и не могъ: слишкомъ много искренняго убѣжденія было въ ея словахъ, такъ что даже, когда она, упомянувъ про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторилъ это движеніе.

— Ну, если не хочешь мнѣ погадать, такъ расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросилъ я.

Олеся вдругъ бросила прялку и притронулась рукой къ моей рукѣ.

— Нѣтъ... Лучше не надо, — сказала она, и ея глаза приняли умоляюще-дѣтское выраженіе. — Пожалуйста, не просите... Не хорошо вамъ вышло... Не просите лучше...

Но я продолжалъ настаивать. Я не могъ разобрать: былъ-ли ея отказъ и темные намеки на судьбу наиграннымъ приѣмомъ гадалки, или она дѣйствительно сама вѣрила въ то, о чемъ говорила, но мнѣ стало какъ-то не по себѣ, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконецъ Олеся. — Только смотрите, уговоръ лучше денегъ: не сердиться, если вамъ что не понравится. Вышло вамъ

вотъ что: человѣкъ вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господинъ. Надъ людьми любите верхъ брать, а сами имъ хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, такъ ужъ все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и черезъ это вамъ много въ жизни будетъ зла... Деньгами вы не дорожите и копить ихъ не умѣете — богатымъ никогда не будете... Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будетъ невеселая. Никого вы сердцемъ не полюбите, потому что сердце у васъ холодное, лѣнивое, а тѣмъ, которая васъ будутъ любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, такъ холостымъ и умрете. Радостей вамъ въ жизни большихъ не будетъ, но будетъ много скуки и тяготы... Настанетъ такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у васъ дѣло одно выйдетъ... Но только не посмѣете, такъ снесете... Сильную нужду будете терпѣть, однако подъ конецъ жизни судьба ваша перемѣнится черезъ смерть какого-то близкаго вамъ человѣка и совсѣмъ для васъ неожиданно. Только все это будетъ еще черезъ много лѣтъ, а вотъ въ этомъ году... Я не знаю, ужъ когда именно — карты го-

ворять, что очень скоро... Можетъ быть даже и въ этомъ мѣсяцѣ...

— Что-же случится въ этомъ году? — спросилъ я, когда она опять остановилась.

— Да ужъ боюсь даже говорить дальше. Падаетъ вамъ большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вотъ только не могу догадаться, замужняя она или дѣвушка, а знаю, что съ темными волосами...

Я невольно бросилъ быстрый взглядъ на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснѣла вдругъ она, почувствовавъ мой взглядъ съ пониманіемъ, свойственнымъ нѣкоторымъ женщинамъ. — Ну да, въ родѣ моихъ, — продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснѣя.

— Такъ ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутилъ я.

— Не смѣйтесь, не надо смѣяться, — серьезно, почти строго замѣтила Олеся. — Я вамъ все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что-же дальше?

— Дальше... Охъ! Нехорошо выходить этой трефовой дамѣ, хуже смерти. Позоръ она черезъ васъ большой приметъ, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей

выходить... А вамъ въ ея планетѣ ничего дурного не выходить.

— Послушай, Олеся, а не могли-ли тебя карты обмануть? Зачѣмъ-же я буду трефовой дамѣ столько непріятностей дѣлать? Человѣкъ я тихій, скромный, а ты столько страховъ про меня наговорила.

— Ну, ужъ этого я не знаю. Да и вышло-то такъ, что не вы это сдѣлаете, — не нарочно, значить, а только черезъ васъ вся эта бѣда стрясется... Вотъ когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебѣ карты сказали, Олеся?

Она отвѣтила не сразу, уклончиво и какъ будто-бы неохотно:

— И карты... Да я и безъ нихъ узнаю много, вотъ хоть-бы по лицу. Если, напримѣръ, который человѣкъ долженъ скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчасъ у него на лицѣ прочитаю, даже говорить мнѣ съ нимъ не нужно.

— Что-же ты видишь у него на лицѣ?

— Да я и сама не знаю. Страшно мнѣ вдругъ сдѣлается, точно онъ не живой передо мной стоитъ. Вотъ хоть у бабушки спросите, она вамъ скажетъ, что я правду говорю. Трофимъ, мельникъ, въ позапрошломъ году у себя на млинѣ удавился, а я его только за два дня передъ тѣмъ видѣла и тогда-же сказала ба-

бушкѣ: «Вотъ посмотри, бабуса, что Трофимъ на-дняхъ дурной смертью умереть». Такъ оно и вышло. А на прошлыя святки зашелъ къ намъ конокрадъ-Яшка, просилъ бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А онъ, шутя, спрашиваетъ: «Ты мнѣ скажи, бабка, какой я смертью умру?» А самъ смѣется. Я какъ поглядѣла на него, такъ и пошевелинуться не могу: вижу, сидитъ Яковъ, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черныя... Потомъ, черезъ недѣлю, слышимъ, что поймали мужики Якова, когда онъ лошадей хотѣлъ свести... Всю ночь его били... Злой у насъ народъ здѣсь, безжалостный... Въ пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями всѣ ребра, а къ утру изъ него и духъ вонъ.

— Отчего-же ты ему не сказала, что его бѣда ждетъ?

— А зачѣмъ говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, развѣ отъ этого убѣжишь? Только-бы понапрасну челоуѣкъ свои послѣдніе дни тревожился... Да мнѣ и самой гадко, что я такъ вижу, сама себѣ я противна дѣлаюсь... Только что-жъ? Это вѣдь у меня отъ судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не отъ насъ... это въ нашей крови такъ.

Она перестала пряхъ и сидѣла, низко опустивъ голову, тихо положивъ руки вдоль колѣнъ. Въ ея неподвижно остановившихся глазахъ съ расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужасъ, какая-то невольная покорность таинственнымъ силамъ и сверхъестественнымъ знаніямъ, осѣнявшимъ ея душу.

V.

Въ это время старуха разостлала на столѣ чистое полотенце съ вышитыми концами и поставила на него дымящійся горшокъ.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и послѣ минутнаго колебанія прибавила, обращаясь ко мнѣ: — можетъ-быть, и вы, господинъ, съ нами откушаете? Милости просимъ... Только неважныя у насъ кушанья-то, суповъ не варимъ, а просто крупничокъ полевой...

Нельзя сказать, чтобы ея приглашеніе отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было-хотѣлъ отказаться отъ него, но Олеся, въ свою очередь, попросила меня съ такой милой простотой и съ такой ласковой улыбкой, что я поневолѣ согласился. Она сама налила мнѣ полную тарелку крупника — похлебки изъ гречневой крупы съ саломъ,

лукомъ, картофелемъ и курицей — чрезвычайно вкуснаго и питательнаго кушанья. Садясь за столъ, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужиномъ я не переставалъ наблюдать за обѣими женщинами, потому что, по моему глубокому убѣжденію, которое я и до сихъ поръ сохраняю, нигдѣ человѣкъ не высказывается такъ ясно, какъ во время ѣды. Старуха глотала крупникъ съ торопливой жадностью, громко чавкая и захпывая въ ротъ огромные куски хлѣба, такъ что подъ ея дряблыми щеками вздувались и двигались большія гули. У Олеси даже въ манерѣ ѣсть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя часъ послѣ ужина я простился съ хозяйками избушки на курьихъ ножкахъ.

— Хотите, я васъ провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какіе-такіе проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебѣ на мѣстѣ, стрекоза...

Но Олеся уже накинута на голову красный кашемировый платокъ и вдругъ, подбѣжавъ къ бабушкѣ, обняла ее и звонко поцѣловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчасъ и назадъ.

— Ну ладно, ужъ ладно, верченая, — слабо отбивалась отъ нея старуха. — Вы, госпо-

динъ, не обезсудьте: совсѣмъ дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лѣсную дорогу, черную отъ грязи, всю истоптанную слѣдами копытъ и изборожденную колеями, полными воды, въ которой отражался пожаръ вечерней зари. Мы шли обочинной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими послѣ снѣга. Кое-гдѣ сквозь ихъ мертвую желтизну подымали свои лиловыя головки крупные колокольчики «сна» — перваго цвѣтка Полѣся.

— Послушай, Олеся, — началъ я: — мнѣ очень хочется спросить тебя кое о чемъ, да я боюсь, что ты разсердишься... Скажи мнѣ, правду-ли говорятъ, что твоя бабка... какъ-бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мнѣ Олеся.

— Нѣтъ... Не колдунья... — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья... Конечно, вѣдь мало-ли что болтаютъ. Почему ей просто-напросто не знать какихъ-нибудь травъ, средствъ, заговоровъ?.. Впрочемъ, если тебѣ это непріятно, ты можешь не отвѣчать.

— Нѣтъ, отчего-же, — отозвалась она просто: — что-жъ тутъ непріятнаго? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она ста-

ла стара и ужъ не можетъ дѣлать того, что дѣлала раньше.

— Что-же она умѣла дѣлать? — полюбопытствовалъ я.

— Разное. Лѣчить умѣла, отъ зубовъ пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бѣшенная собака укуситъ или змѣя, клады указывала... да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я вѣдь этому всему не вѣрю. Ну, будь со мной откровенна, я тебя никому не выдамъ: вѣдь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, какъ хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоитъ, но васъ-бы я не стала обманывать.

— Значить, ты твердо вѣришь колдовству?

— Да какъ-же мнѣ не вѣрить? Вѣдь у насъ въ роду чары... Я и сама многое умѣю.

— Олеся, голубушка... Если-бы ты знала, какъ мнѣ это интересно... Неужели ты мнѣ ничего не покажешь?

— Отчего-же, покажу, если хотите, — съ готовностью согласилась Олеся. — Сейчасъ желаете?

— Да, если можно, сейчасъ.

— А бояться не будете?

— Ну вотъ глупости. Ночью, можетъ-быть, боялся-бы, а теперь еще свѣтло.

— Хорошо. Дайте мнѣ руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукавъ моего пальто и разстегнула запонку у манжетки, потомъ она достала изъ своего кармана небольшой, вершка въ три, финскій ножикъ и вынула его изъ кожанаго чехла.

— Что ты хочешь дѣлать? — спросилъ я, чувствуя, какъ во мнѣ шевельнулось подленькое опасеніе.

— А вотъ сейчасъ... Вѣдь вы-же сказали, что не будете бояться!

Вдругъ рука ея сдѣлала едва замѣтное легкое движеніе, и я ощутилъ въ мякоти руки, немного выше того мѣста, гдѣ щупаютъ пульсъ, раздражающее прикосновеніе остраго лезвея. Кровь тотчасъ-же выступила во всю ширину порѣза, полилась по рукѣ и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался отъ того, чтобы не крикнуть, но, кажется, поблѣднѣлъ.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмѣхнулась Олеся.

Она крѣпко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись къ ней лицомъ, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячимъ прерывистымъ дыханіемъ. Когда-же Олеся выпрямилась и

разжала свои пальцы, то на пораненномъ мѣстѣ осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно съ васъ? — съ лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножикъ. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если-бы можно было, не такъ ужъ страшно и безъ кровопролитія, пожалуйста.

— Что-бы вамъ такое показать? — задумалась она. — Ну хоть развѣ это вотъ: идите впереди меня по дорогѣ... Только, смотрите, не оборачивайтесь назадъ.

— А это не будетъ страшно? — спросилъ я, стараясь безпечной улыбкой прикрыть боязливое ожиданіе непріятнаго сюрприза.

— Нѣтъ, нѣтъ... Пустяки... Идите.

Я пошелъ впередъ, очень заинтересованный опытомъ, чувствуя за спиной напряженный взглядъ Олеси. Но, пройдя около двадцати шаговъ, я вдругъ споткнулся на совсѣмъ ровномъ мѣстѣ и упалъ ничкомъ.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживетъ... Держитесь крѣпче за землю, когда будете падать.

Я пошелъ дальше. Еще десять шаговъ, и я вторично растянулся во весь ростъ.

Олеся громко захохотала и хлопала въ ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими бѣлыми зубами. — Вѣрите теперь? Ничего, ничего!.. Полетѣли не вверхъ, а внизъ.

— Какъ ты это сдѣлала? — съ удивленіемъ спросилъ я, отряхиваясь отъ приставшихъ къ моей одеждѣ вѣточекъ и сухихъ травинокъ. — Это не секретъ?

— Вовсе не секретъ. Я вамъ съ удовольствіемъ расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумѣю я объяснить...

Я дѣйствительно не совсѣмъ понялъ ее. Но, если не ошибаюсь, этотъ своеобразный фокусъ состоитъ въ томъ, что она, идя за мной слѣдомъ шагъ за шагомъ, нога въ ногу и, неотступно глядя на меня, она въ то-же время старается подражать каждому, самому малѣйшему моему движенію, такъ сказать, отождествляетъ себя со мною. Пройдя такимъ образомъ нѣсколько шаговъ, она начинаетъ мысленно воображать, на нѣкоторомъ разстояніи впереди меня, веревку, протянутую поперекъ дороги на аршинъ отъ земли. Въ ту минуту, когда я долженъ прикоснуться ногой къ этой воображаемой веревкѣ, Олеся вдругъ дѣлаетъ падающее движеніе, и тогда, по ея словамъ, самый крѣпкій человѣкъ долженъ непремѣнно упасть... Только много времени спустя я вспомнилъ сбивчивое объяс-

неніе Олеси, когда читаль отчетъ д-ра Шарко о наблюденіяхъ, произведенныхъ имъ надъ двумя пациентками Сальпетріера, профессиональными колдуньями, страдавшими истеріей. И я былъ очень удивленъ, узнавъ, что французскія колдуньи изъ простонародья прибѣгали въ подобныхъ случаяхъ совершенно къ той-же сноровкѣ, какую пускала въ ходъ милая полѣсская вѣдьма.

— О! Я еще много чего умѣю, — самоуверенно заявила Олесья. — Напримѣръ, я могу нагнать на васъ страхъ.

— Что это значить?

— Сдѣлаю такъ, что вамъ страшно станетъ. Сидите вы, напримѣръ, у себя въ комнатѣ вечеромъ, и вдругъ на васъ найдетъ ни съ того ни съ сего такой страхъ, что вы задрожите и оглянуться назадъ не посмѣете. Только для этого мнѣ нужно знать, гдѣ вы живете, и раньше видѣть вашу комнату.

— Ну, ужъ это совсѣмъ просто, — усомнился я. — Подойдешь къ окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нѣтъ, нѣтъ... Я буду въ лѣсу въ это время, никуда изъ хаты не выйду... Но я буду сидѣть и все думать, что вотъ я иду по улицѣ, вхожу въ вашъ домъ, отворяю двери, вхожу въ вашу комнату... Вы сидите гдѣ-нибудь... ну, хоть у стола... я подкрадываюсь

къ вамъ сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю васъ за плечо руками и начинаю давить... все крѣпче, крѣпче, крѣпче... а сама гляжу на васъ... вотъ такъ — смотрите...

Ея тонкія брови вдругъ сдвинулись, глаза въ упоръ остановились на мнѣ съ грознымъ и притягивающимъ выраженіемъ, зрачки увеличились и посинѣли. Мнѣ тотчасъ-же вспомнилась видѣнная мною въ Москвѣ, въ Третьяковской галлерей, голова Медузы, — работа ужъ не помню какого художника. Подъ этимъ пристальнымъ, страннымъ взглядомъ меня охватилъ холодный ужасъ сверхъестественнаго.

— Ну полно, полно, Олеся... будетъ, — сказалъ я съ дѣланнымъ смѣхомъ. — Мнѣ гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься — тогда у тебя такое милое, дѣтское лицо.

Мы пошли дальше. Мнѣ вдругъ вспомнилась выразительность и даже для простой дѣвушки изысканность фразъ въ разговорѣ Олеси, и я сказалъ:

— Знаешь, что меня удивляетъ въ тебѣ, Олеся? Вотъ ты выросла въ лѣсу, никого не издавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла...

— Да я вовсе не умѣю и читать.

— Ну, тѣмъ болѣе... А между тѣмъ ты такъ хорошо говоришь, не хуже настоящей ба-

рышни. Скажи мнѣ, откуда у тебя это? Понимаешь, о чемъ я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все отъ бабушки... Вы не смотрите, что она такая съ виду. У! Какая она умная! Вотъ, можетъ-быть, она и при васъ разговорится, когда побольше привыкнетъ... Она все знаетъ, ну просто все на свѣтѣ, про что ни спросишь. Правда, постарѣла она теперь.

— Значить, она много видѣла на своемъ вѣку? Откуда она родомъ? Гдѣ она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олеся. Она отвѣтила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю... Да она объ этомъ и не любитъ говорить. Если-же когда и скажетъ что, то всегда просить забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мнѣ пора, — заторопилась Олеся: — бабушка будетъ сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иванъ Тимофеевичъ? Ну, вотъ и отлично. Такъ до свиданья, Иванъ Тимофеевичъ! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянулъ ей руку, и ея маленькая крѣпкая рука отвѣтила мнѣ сильнымъ, дружескимъ пожатіемъ.

VI.

Съ этого дня я сталъ частымъ гостемъ въ избышкѣ на курьихъ, ножкахъ. Каждый разъ, когда я приходилъ, Олеся встрѣчала меня съ своимъ привычнымъ сдержаннымъ достоинствомъ. Но всегда, по первому невольному движенію, которое она дѣлала, увидѣвъ меня, я замѣчалъ, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себѣ подъ носъ, но явнаго недоброжелательства не выражала, благодаря невидимому для меня, но несомнѣнному заступничеству внучки; также немалое вліяніе въ благотворномъ для меня смыслѣ оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платокъ, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У насъ съ Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло въ обыкновеніе, что она меня провожала до Ириновскаго шляха, когда я уходилъ домой. И всегда у насъ въ это время завязывался такой живой, интересный разговоръ, что мы оба старались поневолѣ продлить дорогу, идя какъ можно тише безмолвными лѣсными опушками. Дойдя до Ириновскаго шляха, я ее провожалъ обратно съ полверсты, и все-таки, прежде чѣмъ про-

ститесь, мы еще долго разговаривали, стоя подъ пахучимъ навѣсомъ сосновыхъ вѣтвей.

Не одна красота Олеси меня въ ней очаровывала, но также и ея цѣльная, самобытная, свободная натура, ея умъ, одновременно ясный и окутанный непоколебимымъ наслѣдственнымъ суевѣріемъ, дѣтски-невинный, но и не лишенный лукаваго кокетства красивой женщины. Она не уставала меня спрашивать подробно обо всемъ, что занимало и волновало ея первобытное, яркое воображеніе: о странахъ и народахъ, объ явленіяхъ природы, объ устройствѣ земли и вселенной, объ ученыхъ людяхъ, о большихъ городахъ... Многое ей казалось удивительнымъ, сказочнымъ, неправдоподобнымъ. Но я съ самаго начала нашего знакомства взялъ съ нею такой серьезный, искренній и простой тонъ, что она охотно принимала на безконтрольную вѣру всѣ мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишкомъ, по моему мнѣнію, непонятное для ея полудикарской головы (а иной разъ и самому мнѣ не совсѣмъ ясное), я возражалъ ей на ея жадные вопросы: «Видишь-ли... Я не сумѣю тебѣ этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нѣтъ, пожалуйста, пожалуйста, я по-

стараюсь... Вы хоть какъ-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться въ чудовищныя сравненія, въ самые дерзкіе примѣры, и если я затруднялся подыскать выраженіе, она сама помогала мнѣ цѣлымъ дождемъ нетерпѣливыхъ вопросовъ, въ родѣ тѣхъ, которые мы предлагаемъ заикѣ, мучительно застрявшему на одномъ словѣ. И дѣйствительно, въ концѣ концовъ ея гибкій, подвижной умъ и свѣжее воображеніе торжествовали надъ моимъ педагогическимъ безсиліемъ. Я поневолѣ убѣждался, что для своей среды, для своего воспитанія (или, вѣрнѣе сказать, отсутствія его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянулъ что-то про Петербургъ. Олеся тотчасъ-же заинтересовалась:

— Что такое Петербургъ? Мѣстечко?

— Нѣтъ, это не мѣстечко; это самый большой русскій городъ.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нѣту? — наивно пристала она ко мнѣ.

— Ну да... Тамъ все главное начальство живетъ... господа большіе... Дома тамъ все каменные, деревянныхъ нѣтъ.

— Ужъ, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О, да... немножко побольше... такъ, разъ въ пятьсотъ. Тамъ такіе есть дома, въ которыхъ въ каждомъ народу живетъ вдвое больше, чѣмъ во всей Степани.

— Ахъ, Боже мой! Какіе-же это дома? — почти въ испугъ спросила Олеся.

Мнѣ пришлось, по обыкновенію, прибѣгнуть къ сравненію.

— Ужасные дома. Въ пять, въ шесть, а то и въ семь этажей. Видишь вотъ ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Такъ вотъ такіе дома. И съ верху до низу набиты людьми. Живутъ эти люди въ маленькихъ конуркахъ, точно птицы въ клѣткахъ, человѣкъ по десяти въ каждой, такъ что всѣмъ и воздуху не хватаетъ. А другіе внизу живутъ, подъ самой землей, въ сырости и холодѣ; случается, что солнца у себя въ комнатѣ круглый годъ не видятъ.

— Ну, ужъ я-бъ ни за что не перемѣнила своего лѣса на вашъ городъ, — сказала Олеся, покачавъ головой. — Я и въ Степань-то приду на базаръ, такъ мнѣ противно сдѣлается. Толкаются, шумятъ, бранятся... И такая тоска меня возьметъ за лѣсомъ, — такъ бы бросила все и безъ оглядки побѣжала...

Богъ съ нимъ, съ городомъ вашимъ, не стала-бы я тамъ жить никогда.

— Ну, а если твой мужъ будетъ изъ города? — спросилъ я съ легкой улыбкой.

Ея брови нахмурились, и тонкія ноздри дрогнули.

— Вотъ еще! — сказала она съ пренебреженіемъ. — Никакого мнѣ мужа не надо.

— Это ты теперь только такъ говоришь, Олеса. Почти всѣ дѣвушки то-же самое говорятъ и все-же за мужъ выходятъ. Подожди немного: встрѣтишься съ кѣмъ-нибудь, — полюбишь — тогда не только въ городъ, а на край свѣта съ нимъ пойдешь.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ... пожалуйста, не будемъ объ этомъ, — досадливо отмахивалась она. — Ну къ чему этотъ разговоръ?.. Прошу васъ, не надо.

— Какая ты смѣшная, Олеса. Неужели ты думаешь, что никогда въ жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если въ тебѣ кровь загорится, то ужъ тутъ не до зароконъ будетъ.

— Ну что-жъ — и полюблю! — сверкнувъ глазами, съ вызовомъ отвѣтила Олеса. — Спрашиваться ни у кого не буду...

— Стало-быть, и замужъ пойдешь, — поддразнилъ я.

— Это вы, может-быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь... Священникъ вокругъ аналоя будетъ водить, дьяконъ запоетъ: «Исаія ликуй», на голову тебѣ надѣнуть вѣнецъ...

Олеся опустила вѣки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нѣтъ, голубчикъ... Может-быть, вамъ и не понравится, что я скажу, а только у насъ въ роду никто не вѣнчался: и мать, и бабка безъ этого прожили... Намъ въ церковь и заходить-то нельзя...

— Все изъ-за колдовства вашего?

— Да, изъ-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью отвѣтила Олеся. — Какъ-же я посмѣю въ церковь показаться, если уже отъ самаго рожденія моя душа продана е м у.

— Олеся... Милая... Повѣрь мнѣ, что ты сама себя обманываешь... Вѣдь это дико, это смѣшно, что ты говоришь.

На лицѣ Олеси опять показалось уже замѣченное мною однажды странное выраженіе убѣжденной и мрачной покорности своему таинственному предназначенію.

— Нѣтъ, нѣтъ... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вотъ здѣсь, — она крѣпко притиснула руку къ груди: — въ

душѣ чувствую. Весь нашъ родъ проклять во вѣки вѣковъ. Да вы посудите сами: кто-же намъ помогаетъ, какъ не о н ѣ? Развѣ можетъ простой человѣкъ сдѣлать то, что я могу? Вся наша сила отъ н е г о идетъ.

И каждый разъ нашъ разговоръ, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобнымъ образомъ. Напрасно я истощалъ всѣ доступные пониманію Олеси доводы, напрасно говорилъ въ простой формѣ о гипнотизмѣ, о внушеніи, о докторахъ-психіатрахъ и объ индійскихъ факирахъ, напрасно старался объяснить ей фізіологическимъ путемъ нѣкоторые изъ ея опытовъ, хотя-бы, на примѣръ, заговариваніе крови, которое такъ просто достигается нажатіемъ на вену, — Олесь, такая довѣрчивая ко мнѣ во всемъ остальномъ, съ упрямой настойчивостью опровергала мнѣ мои доказательства и объясненія... «Ну хорошо, хорошо, про заговоръ крови я вамъ, такъ и быть, подарю, — говорила она, возвышая голосъ въ увлеченіи спора: — а откуда-же другое берется? Развѣ я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вамъ въ одинъ день всѣхъ мышей и таракановъ выведу изъ хаты? Хотите, я въ два дня вылѣчу простой водой самую сильную огневицу, хотъ-бы всѣ ваши доктора отъ больного отказались? Хотите, я сдѣлаю такъ, что

вы какое-нибудь одно слово совсѣмъ позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этотъ споръ всегда тѣмъ, что и я и Олеся умолкали не безъ внутренняго раздраженія другъ противъ друга. Дѣйствительно, для многаго изъ ея чернаго искусства я не умѣлъ найти объясненія въ своей небольшой наукѣ. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тѣхъ секретовъ, о которыхъ говорила съ такой наивной вѣрой, но то, чему я самъ бывалъ нерѣдко свидѣтелемъ, вселило въ меня непоколебимое убѣжденіе, что Олеся были доступны тѣ безсознательныя, инстинктивныя, туманныя, добытыя случайнымъ опытомъ, странныя знанія, которыя, опередивъ точную науку на цѣлыя столѣтія, живутъ, перемѣшавшись со смѣшными и дикими повѣрьями, въ темной, замкнутой народной массѣ, передаваясь, какъ величайшая тайна, изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Несмотря на рѣзкое разногласіе въ этомъ единственномъ пунктѣ, мы все сильнѣе и крѣпче привязывались другъ къ другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вмѣстѣ для насъ уже сдѣлалось потребностью, и часто въ молчаливыя минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встрѣчались, я видѣлъ, какъ

увлажнялись глаза Олеси, и какъ билась тоненькая голубая жилка у нея на вискѣ...

Зато мои отношенія съ Ярмолой совсѣмъ испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посѣщенія избушки на курьихъ ножкахъ и вечернія прогулки съ Олесей: онъ всегда съ удивительной точностью зналъ все, что происходило въ его лѣсу. Съ нѣкотораго времени я замѣтилъ, что онъ начинаетъ избѣгать меня. Его черные глаза слѣдили за мною издали съ упрекомъ и неудовольствіемъ каждый разъ, когда я соби́рался итти въ лѣсъ, хотя порицанія своего онъ не высказывалъ ни однимъ словомъ. Наши комически-серьезныя занятія грамотой прекратились. Если-же я иногда вечеромъ звалъ Ярмолу учиться, онъ только махалъ рукой.

— Куда тамъ! Пустое это дѣло, паньчъ, — говорилъ онъ съ лѣнивымъ презрѣніемъ.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякій разъ, когда я подымалъ объ этомъ разговоръ, у Ярмолы находился какой-нибудь предлогъ для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда: «Нема часу, паньчъ... нужно пашню сегодня орать», — чаще всего отвѣчалъ Ярмола на мое приглашеніе, и я отлично зналъ, что онъ вовсе не будетъ «орать пашню», а проведетъ цѣлый день около монополіи въ сомнительной надеж-

дѣ на чье-нибудь угощеніе. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывалъ о томъ, чтобы отказаться отъ услугъ Ярмолы, воспользовавшись для этого первымъ подходящимъ предложеньемъ... Меня останавливало только чувство жалости къ его огромной нищей семьѣ, которой четыре рубля Ярмолы жалованія помогали не умереть съ голода.

VII.

Однажды, когда я, по обыкновенію, пришелъ передъ вечеромъ въ избушку на куриныхъ ножкахъ, мнѣ сразу бросилось въ глаза удрученное настроеніе духа ея обитательницъ. Старуха сидѣла съ ногами на постели и, сгорбившись, обхвативъ голову руками, качалась взадъ и впередъ и что-то невнятно бормотала. На мое привѣтствіе она не обратила никакого вниманія. Олеся поздоровалась со мной, какъ и всегда, ласково, но разговоръ у насъ не вязался. Повидимому, она слушала меня разсѣяннo и отвѣчала невпопадъ. На ея красивомъ лицѣ лежала тѣнь какой-то безпрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у васъ случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказалъ я, осторожно при-

касаясь рукой къ ея рукѣ, лежавшей на скамейкѣ.

Олеся быстро отвернулась къ окну, точно разглядывая тамъ что. Она старалась казаться спокойной, но ея брови сдвинулись и задрожали, а зубы крѣпко прикусили нижнюю губу.

— Нѣтъ... что-же у насъ могло случиться особеннаго? — произнесла она глухимъ голосомъ. — Все какъ было, такъ и осталось.

— Олеся, зачѣмъ ты говоришь мнѣ неправду? Это нехорошо съ твоей стороны... А я было-думалъ, что мы съ тобой друзьями стали.

— Право-же, ничего нѣтъ... Такъ... свои заботы... пустячныя...

— Нѣтъ, Олеся, должно-быть, не пустячныя. Посмотри — ты сама на себя непохожа сдѣлалась.

— Это вамъ такъ кажется только.

— Будь-же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу-ли я тебѣ помочь, но, можетъ-быть, совѣтъ какой-нибудь дамъ... Ну, наконецъ, просто тебѣ легче станетъ, когда подѣлишься горемъ.

— Ахъ, да, правда, не стоитъ и говорить объ этомъ, — съ нетерпѣніемъ возразила Олеся, — Ничѣмъ вы тутъ намъ не можете пособить.

Старуха вдругъ съ небывалой горячностью вмѣшалась въ нашъ разговоръ:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебѣ дѣло говорить, а ты носъ дерешь. Точно умнѣ тебя и на свѣтѣ-то нѣтъ никого. Позвольте, господинъ, я вамъ всю эту исторію расскажу по порядку, — повернулась она въ мою сторону.

Размѣры непріятности оказались гораздо значительнѣе, чѣмъ я могъ предположить изъ словъ гордой Олеси. Вчера вечеромъ въ избушку на курьихъ ножкахъ заѣзжалъ мѣстный урядникъ.

— Сначала-то онъ честь-честью сѣлъ и водки потребовалъ, — говорила Мануйлиха: — а потомъ и пошелъ, и пошелъ. Выбирайся, говоритъ, изъ хаты въ двадцать четыре часа со всѣми своими потрохами. Если, говоритъ, я въ слѣдующій разъ приѣду и застаю тебя здѣсь, такъ и знай, не миновать тебѣ этапнаго порядка. При двухъ, говоритъ, солдатахъ отправлю тебя, анаѣму, на родину. А моя родина, батюшка, далекая, городъ Амченскъ... У меня тамъ теперь и души знакомой нѣтъ, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще къ тому неисправные. Ахъ, Ты, Господи, несчастье мое!

— Почему-же онъ раньше позволялъ тебѣ жить, а только теперь надумался? — спросилъ я

— Да вотъ поди-жъ ты... Брехалъ онъ что-

то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дѣло: хибарка эта, вотъ въ которой мы живемъ, не наша, а помѣщичья. Вѣдь мы раньше съ Олесей на селѣ жили, а потомъ...

— Знаю, знаю, бабушка, слышалъ объ этомъ... Мужики на тебя разсердились...

— Ну вотъ, вотъ это самое. Я тогда у стараго помѣщика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто-бы купилъ лѣсъ новый помѣщикъ, и будто-бы хочетъ онъ какія-то болота, что-ли, сушить. Только чего-же я-то имъ помѣшала?

— Бабушка, а можетъ-быть, все это вранье одно, — замѣтилъ я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотѣлось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-еть! Вотъ исторія... Четвертной билетъ давала, не беретъ... Куд-да тебѣ! Такъ на меня вызвѣрился, что я ужъ не знала, гдѣ стою. Заладилъ въ одну душу: «вонъ да вонъ!» Что-жъ мы теперь дѣлать будемъ, сироты мы несчастныя! Батюшка родимый, хоть-бы ты намъ чѣмъ помогъ, усовѣстилъ-бы его, утробу ненасытную. Вѣкъ-бы, кажется, была тебѣ благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, съ разстановкой произнесла Олеся.

— Чего тамъ — бабушка! — разсердилась старуха. — Я тебѣ уже двадцать пя-

тый годъ — бабушка. Что-же, по твоему, съ сумой лучше итти? Нѣтъ, господинъ, вы ея не слушайте. Ужъ будьте милостивы, если что можете сдѣлать, то сдѣлайте.

Я въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ обѣщалъ похлопотать, хотя, по правдѣ сказать, надежды было мало. Если ужъ нашъ урядникъ отказывался «взять», значить, дѣло было слишкомъ серьезное. Въ этотъ вечеръ Олеся простилась со мной холодно и, противъ обыкновенія, не пошла меня провожать. Я видѣлъ, что самолюбивая дѣвушка сердится на меня за мое вмѣшательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII.

Было сѣренькое теплое утро. Уже нѣсколько разъ принимался итти крупный, короткій, благодатный дождь, послѣ котораго на глазахъ растеть молодая трава и вытягиваются новые побѣги. Послѣ дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостнымъ сверканіемъ облитую дождемъ молодую, еще нѣжную зелень сиреней, сплошь наполнявшихъ мой палисадникъ; громче становился задорный крикъ воробьевъ на рыхлыхъ огородныхъ грядкахъ; сильнѣе благоухали клейкія

коричневая почка тополя. Я сидѣлъ у стола и чертилъ планъ лѣсной дачи, когда въ комнату вошелъ Ярмола.

— Есть врьдникъ, — проговорилъ онъ мрачно.

У меня въ эту минуту совсѣмъ вылетѣло изъ головы отданное мною два дня тому назадъ приказаніе увѣдомить меня въ случаѣ пріѣзда урядника, и я никакъ не могъ сразу сообразить, какое отношеніе имѣетъ въ настоящую минуту ко мнѣ этотъ представитель власти.

— Что такое? — спросилъ я въ недоумѣніи.

— Говорю, что врьдникъ пріѣхалъ, — повторилъ Ярмола тѣмъ-же враждебнымъ тономъ, который онъ вообще принялъ со мною за послѣдніе дни. — Сейчасъ я видѣлъ его на плотинѣ. Сюда ѣдетъ.

На улицѣ слышалось тархтѣніе колесъ. Я поспѣшно бросился къ окну и отворилъ его. Длинный, худой, шоколаднаго цвѣта меринъ, съ отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влекъ высокую тряскую плетушку, съ которой онъ былъ соединенъ при помощи одной лишь оглобли, — другую оглоблю замѣняла толстая веревка (злые уѣздные языки увѣряли, что урядникъ нарочно завелъ этотъ печальный «вы-

ѣздъ» для пресѣченія всевозможныхъ нежелательныхъ толкованій). Урядникъ самъ правилъ лошадей, занимая своимъ чудовищнымъ тѣломъ, облеченнымъ въ сѣрую шинель щегольского офицерскаго сукна, оба сидѣнія.

— Мое почтеніе, Евсихій Африкановичъ!
— крикнулъ я, высовываясь изъ окошка.

— А-а, мое почтенье-съ! Какъ здоровьице?
— отозвался онъ любезнымъ, раскатистымъ начальническимъ баритономъ.

Онъ сдержалъ мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью къ козырьку, съ тяжеловѣсной граціей наклонилъ впередъ туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня къ вамъ дѣлишко одно есть.

Урядникъ широко развелъ руками и затрясъ головой.

— Не могу-съ! При исполненіи служебныхъ обязанностей. Ѣду въ Волошу на мертвое тѣло — утопленникъ-съ.

Но я уже зналъ слабыя стороны Евсихія Африкановича и потому сказалъ съ дѣланымъ равнодушіемъ:

— Жаль, жаль... А я изъ экономіи графа Ворцеля добылъ пару такихъ бутылочекъ...

— Не могу-съ. Долгъ службы...

— Мнѣ буфетчикъ по знакомству продалъ. Онъ ихъ въ погребѣ какъ дѣтей родныхъ вос-

питываль... Зашли-бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Вѣдь вотъ вы какой, право, — съ упрехомъ сказалъ урядникъ. — Развѣ не знаете, что служба прежде всего?.. А они съ чѣмъ, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнулъ я рукой. — Старка, батюшка, вотъ что!

— Мы, признаться, ужъ подзакусили, — съ сожалѣніемъ почесалъ щеку урядникъ, невѣроятно сморщивъ при этомъ лицо.

Я продолжалъ съ прежнимъ спокойствіемъ:

— Не знаю, правда-ли, но буфетчикъ божился, что ей двѣсти лѣтъ. Запахъ прямо какъ коньякъ и самой янтарной желтизны.

— Эхъ! Что вы со мной дѣлаете! — воскликнулъ въ комическомъ отчаяніи урядникъ. — Кто-же у меня лошадь-то приметъ?

Старки у меня, дѣйствительно, оказалось нѣсколько бутылокъ, хотя и не такой древней, какъ я хвастался, но я рассчитывалъ, что сила внушенія прибавить ей нѣсколько десятковъ лѣтъ... Во всякомъ случаѣ это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившагося магната (Евпсихій Африкановичъ, который происходилъ изъ духовныхъ, немедленно выпросилъ у меня бутылку на случай, какъ онъ выразился, могущаго произойти простуднаго

заболѣванія...). И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свѣжимъ, только-что сбитымъ масломъ.

— Ну-съ, а дѣльце-то ваше какого сорта? — спросилъ послѣ пятой рюмки урядникъ, откинувшись на спинку затрещавшаго подъ нимъ стараго кресла.

Я принялся излагать ему положеніе бѣдной старухи, упомянулъ про ея беспомощность и отчаяніе, вскользь прошелся насчетъ ненужнаго формализма. Урядникъ слушалъ меня съ опущенной внизъ головой, методически очищая отъ корешковъ красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее съ аппетитнымъ хрустѣніемъ. Изрѣдка онъ быстро вскидывалъ на меня равнодушные, мутные, до смѣшного маленькіе и голубые глаза, но на его красной огромной фізіономіи я не могъ ничего прочесть: ни сочувствія, ни сопротивленія. Когда я наконецъ замолчалъ, онъ только спросилъ:

— Ну, такъ чего-же вы отъ меня хотите?

— Какъ чего? — заволновался я. — Вникните-же, пожалуйста, въ ихъ положеніе. Живутъ двѣ бѣдныя, беззащитныя женщины...

— И одна изъ нихъ прямо бутонъ садовый! — ехидно вставилъ урядникъ.

— Ну ужъ тамъ бутонъ или не бутонъ — это дѣло девятое. Но почему, скажите, вамъ

и не принять въ нихъ участія? Будто-бы вамъ ужъ такъ къ спѣху требуется ихъ выселить? Ну хоть подождите немного, покамѣстъ я самъ у помѣщика похлопочу. Чѣмъ вы рискуете, если подождете съ мѣсяць?

— Какъ, чѣмъ я рискую-съ?!—взвился съ кресла урядникъ. — Помилуйте, да всѣмъ рискую и прежде всего службой-съ. Богъ его знаетъ, каковъ этотъ господинъ Ильяшевичъ, новый помѣщикъ. А можетъ-быть, каверзникъ-съ... изъ такихъ, которые, чуть что, сейчасъ бумажку, перышко и доносикъ въ Петербургъ-съ? У насъ вѣдь бываютъ и такіе-съ!

Я попробоваль успокоить расходившагося урядника.

— Ну полноте, Евпсихій Африкановичъ. Вы преувеличиваете все это дѣло. Наконецъ, что-же? Вѣдь рискъ рискомъ, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнулъ урядникъ и глубоко засунулъ руки въ карманы шароваръ. — Тоже благодарность называется! Что-же вы думаете, я изъ-за какихъ-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положеніе? Нѣтъ-съ, это вы обо мнѣ плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихій Афри-

кановичъ. Здѣсь вовсе не въ суммѣ дѣло, а просто такъ... Ну хоть по человѣчеству...

— По че-ло-вѣ-че-ству? — иронически отчеканилъ онъ каждый слогъ. — Позвольте-съ, да у меня эти человѣки вотъ гдѣ сидятъ-съ!

Онъ энергично ударилъ себя по могучему бронзовому затылку, который свѣшивался на воротникъ жирной безволосой складкой.

— Ну, ужъ это вы, кажется, слишкомъ, Евпсихій Африкановичъ.

— Ни капельки не слишкомъ-съ. «Это — язва здѣшнихъ мѣстъ», по выраженію знаменитаго баснописца, господина Крылова. Вотъ кто эти двѣ дамы-съ! Вы не изволили читать прекрасное сочиненіе его сіятельства, князя Урусова, подъ заглавіемъ: «Полицейскій урядникъ»?

— Нѣтъ, не приходилось.

— И очень напрасно-съ. Прекрасное и высоконравственное произведеніе. Совѣтую на досугѣ ознакомиться...

— Хорошо, хорошо, я съ удовольствіемъ ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношеніе имѣетъ эта книжка къ двумъ бѣднымъ женщинамъ?

— Какое? Очень прямое-съ. Пунктъ первый (Евпсихій Африкановичъ загнулъ толстый, волосатый указательный палецъ на лѣвой рукѣ): «Урядникъ имѣетъ неослабное

наблюденіе, чтобы всѣ ходили въ храмъ Божій съ усердіемъ, пребывая, однако, въ ономъ безъ усилія...» Позвольте узнать, ходить-ли эта... какъ ее... Мануйлиха, что-ли?.. Ходить-ли она когда-нибудь въ церковь?

Я молчалъ, удивленный неожиданнымъ оборотомъ рѣчи. Онъ поглядѣлъ на меня съ торжествомъ и загнулъ второй палецъ.

— Пунктъ второй: «Запрещаются повсемѣстно лжепредсказанія и лжепредзнаменованія...» Чувствуете-съ? Затѣмъ пунктъ третій-съ: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародѣя и употреблять подобные обманы-съ». Что вы на это скажете? А вдругъ все это обнаружится или стороной дойдетъ до начальства? Кто въ отвѣтъ? — Я. Кого изъ службы по шапкѣ? — Меня. Видите, какая штуkenція.

Онъ опять усѣлся въ кресло. Глаза его, поднятые кверху, разсѣянно бродили по стѣнамъ комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я васъ попрошу, Евпсихій Африкановичъ, — началъ я опять умильнымъ тономъ. — Конечно, ваши обязанности сложныя и хлопотливыя, но вѣдь сердце у васъ, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вамъ стоитъ пообѣщать мнѣ не трогать этихъ женщинъ?

Глаза урядника вдругъ остановились поверхъ моей головы.

— Хорошенькое у васъ ружьишко, — небрежно уронилъ онъ, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый разъ, когда я къ вамъ заѣзжалъ и не засталъ дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернулъ голову назадъ и поглядѣлъ на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалилъ я. — Вѣдь оно старинное, фабрики Гастинъ-Реннета, я его только въ прошломъ году на центральное передѣлалъ. Вы обратите вниманіе на стволы.

— Какъ-же-съ, какъ-же-съ... я на стволы-то главнымъ образомъ и любовался. Великолѣпная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встрѣтились, и я увидѣлъ, какъ въ углахъ губъ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся съ мѣста, снялъ со стѣны ружье и подошелъ съ нимъ къ Евпсихію Африкановичу.

— У черкесовъ есть очень милый обычай дарить гостю все, что онъ похвалить, — сказалъ я любезно. — Мы съ вами хотя и не черкесы, Евпсихій Африкановичъ, но я прошу васъ принять отъ меня эту вещь на память.

Урядникъ для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нѣтъ, нѣтъ, это уже черезчуръ щедрый обычай!

Однако мнѣ не пришлось долго его уговаривать. Урядникъ принялъ ружье, бережно поставилъ его между своихъ колѣнъ и любовно отеръ чистымъ носовымъ платкомъ пыль, осѣвшую на спусковой скобѣ. Я немного успокоился, увидѣвъ, что ружье по крайней мѣрѣ перешло въ руки любителя и знатока. Почти тотчасъ Евсихій Африкановичъ всталъ и заторопился ѣхать.

— Дѣло не ждетъ, а я тутъ съ вами забалакался, — говорилъ онъ, громко стуча о полъ неналѣзавшими калошами. — Когда будете въ нашихъ краяхъ, милости просимъ ко мнѣ.

— Ну, а какъ-же насчетъ Мануйлихи, господинъ начальство? — деликатно напомнилъ я.

— Посмотримъ, увидимъ... — неопредѣленно буркнулъ Евсихій Африкановичъ. — Я вотъ васъ еще о чемъ хотѣлъ попросить... Редись у васъ замѣчательный...

— Самъ вырастилъ.

— Уд-дивительный редись! А у меня, знаете-ли, моя благовѣрная страшная обожательница всякой овощи. Такъ если-бы, знаете, того... пучочекъ одинъ.

— Съ наслажденіемъ, Евсихій Африкано-

вичъ. Сочту долгомъ... Сегодня-же съ нарочнымъ отправлю корзиночку. И маслица ужъ позвольте заодно... Масло у меня на рѣдкость.

— Ну, и маслица... — милостиво разрѣшилъ урядникъ. — А этимъ бабамъ вы дайте ужъ знакъ, что я ихъ пока что не трону. Только пусть онѣ вѣдаютъ, — вдругъ возвысилъ онъ голосъ: — что однимъ спасибо отъ меня не отдѣлаются. А за симъ желаю здравствовать. Еще разъ мерси вамъ за подарочекъ и за угощеніе.

Онъ по-военному пристукнулъ каблуками и грузной походкой сытаго важнаго человѣка пошелъ къ своему экипажу, около котораго въ почтительныхъ позахъ безъ шапокъ уже стояли сотскій, сельскій староста и Ярмола.

IX.

Евпсихій Африкановичъ сдержалъ свое обѣщаніе и оставилъ на неопредѣленное время въ покоѣ обитательницъ лѣсной хатки. Но мои отношенія съ Олесей рѣзко и странно измѣнились. Въ ея обращеніи со мной не осталось и слѣда прежней довѣрчивой и наивной ласки, прежняго оживленія, въ которомъ такъ мило смѣшивалось кокетство кра-

сивой дѣвушки съ рѣзвой ребяческой шаловливостью. Въ нашемъ разговорѣ появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... Съ поспѣшной боязливостью Олеся избѣгала живыхъ темъ, дававшихъ раньше такой безбрежный просторъ нашему любопытству.

Въ моемъ присутствіи она отдавалась работѣ съ напряженной, суровой дѣловитостью, но часто я наблюдалъ, какъ среди этой работы ея руки вдругъ опускались безсильно вдоль колѣнъ, а глаза неподвижно и неопредѣленно устремлялись внизъ, на полъ. Если въ такую минуту я называлъ Олесю по имени или предлагалъ ей какой-нибудь вопросъ, она вздрагивала и медленно обращала ко мнѣ свое лицо, въ которомъ отражались испугъ и усиліе понять смыслъ моихъ словъ. Иногда мнѣ казалось, что ее тяготитъ и стѣсняетъ мое общество, но это предположеніе плохо вязалось съ громаднымъ интересомъ, возбуждаемымъ въ ней всего лишь нѣсколько дней тому назадъ каждымъ моимъ замѣчаніемъ, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочетъ мнѣ простить моего, такъ возмущившаго ея независимую натуру, покровительства въ дѣлѣ съ урядникомъ. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда, въ самомъ дѣлѣ, могла явиться у

простой, выросшей среди лѣса дѣвушки такая чрезмѣрно-щепетильная гордость?

Все это требовало разъясненій, а Олеся упорно избѣгала всякаго благопріятнаго случая для откровеннаго разговора. Наши вечернія прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросалъ на Олеся краснорѣчивые, умоляющіе взгляды,—она дѣлала видъ, что не понимаетъ ихъ значенія. Присутствіе-же старухи, несмотря на ея глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался противъ собственнаго безсилія и противъ привычки, тянувшей меня каждый день къ Олесѣ. Я и самъ не подозрѣвалъ, какими тонкими, крѣпкими, незримыми нитями было привязано мое сердце къ этой очаровательной, непонятной для меня дѣвушкѣ. Я еще не думалъ о любви, но я уже переживалъ тревожный, предшествующій любви періодъ, полный смутныхъ, томительно-грустныхъ ощущеній. Гдѣ-бы я ни былъ, чѣмъ-бы ни старался развлечься, — всѣ мои мысли были заняты образомъ Олеси, все мое существо стремилось къ ней, каждое воспоминаніе объ ея, иной разъ самыхъ ничтожныхъ словахъ, объ ея жестахъ и улыбкахъ сжимало съ тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступалъ вечеръ, и я подолгу сидѣлъ возлѣ нея на низкой шаткой скамеечкѣ, съ досадой

чувствуя себя все болѣе робкимъ, неловкимъ и ненаходчивымъ.

Однажды я провелъ такимъ образомъ около Олеси цѣлый день. Уже съ утра я себя чувствовалъ нехорошо, хотя еще не могъ ясно опредѣлить, въ чемъ заключалось мое нездоровье. Къ вечеру мнѣ стало хуже. Голова сдѣлалась тяжелой, въ ушахъ шумѣло, въ темени я ощущалъ тупую безпрестанную боль, — точно кто-то давилъ на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему тѣлу постоянно разливалась какая-то лѣнивая, томная слабость, отъ которой каждую минуту хотѣлось зѣвать и тянуться. Въ глазахъ чувствовалась такая боль, какъ будто-бы я только-что пристально и близко глядѣлъ на блестящую точку.

Когда-же позднимъ вечеромъ я возвращался домой, то какъ разъ на серединѣ пути меня вдругъ схватилъ и затрясъ бурный приступъ озноба. Я шелъ, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, какъ пьяный, между тѣмъ какъ мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сихъ поръ не знаю, кто довезъ меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная, ужасная полѣсская лихорадка. Днемъ недугъ какъ будто-бы затихалъ, и ко мнѣ возвращалось сознание. Тогда, совершенно изну-

ренный болѣзнью, я еле-еле бродилъ по комнатѣ съ болью и слабостью въ колѣняхъ; при каждомъ болѣе сильномъ движеніи кровь прилиwała горячей волной къ головѣ и застилала мракомъ всѣ предметы передъ моими глазами. Вечеромъ-же, обыкновенно часовъ около семи, какъ буря, налеталъ на меня приступъ болѣзни, и я проводилъ на постелѣ ужасную, длинную, какъ столѣтіе, ночь, то трясясь подъ одѣяломъ отъ холода, то пылая невыносимымъ жаромъ. Едва только дремота слегка касалась меня, какъ странныя, нелѣпыя, мучительно-пестрыя сновидѣнія начинали играть моимъ разгоряченнымъ мозгомъ. Всѣ мои грезы были полны мелкихъ, микроскопическихъ деталей, громоздившихся и цѣплявшихся одна за другую въ безобразной сутолокѣ. То мнѣ казалось, что я разбираю какіе-то разноцвѣтные, причудливыхъ формъ ящики, вынимая маленькіе изъ большихъ, а изъ маленькихъ еще меньшіе, и никакъ не могу прекратить этой безконечной работы, которая мнѣ давно уже кажется отвратительной. То мелькали передъ моими глазами съ одурающей быстротой длинныя яркія полосы обоевъ, и на нихъ, вмѣсто узоръ, я съ изумительной отчетливостью видѣлъ цѣлыя гирлянды изъ человѣческихъ физіономій — порою красивыхъ, добрыхъ и

улыбающихся, порою дѣлающихъ страшныя гримасы, высовывающихъ языки, скалящихъ зубы и вращающихъ огромными бѣлками. Затѣмъ я вступалъ съ Ярмолой въ запутанный, необычайно сложный отвлеченный споръ. Съ каждой минутой доводы, которые мы приводили другъ другу, становились все болѣе тонкими и глубокими; отдѣльныя слова и даже буквы словъ принимали вдругъ таинственное, неизмѣримое значеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ меня все сильнѣе охватывалъ безгласный ужасъ передъ невѣдомой, противоестественной силой, что выматываетъ изъ моей головы одинъ за другимъ уродливыя софизмы и не позволяетъ мнѣ прервать давно уже опровергнувшаго спора...

Это былъ какой-то кипящій вихрь человѣческихъ и звѣриныхъ фигуръ, ландшафтовъ, предметовъ самыхъ удивительныхъ формъ и цвѣтовъ, словъ и фразъ, значеніе которыхъ воспринималось всѣми чувствами... Но — странное дѣло — въ то-же время я не переставалъ видѣть на потолкѣ свѣтлый ровный кругъ, отбрасываемый лампой съ зеленымъ обгорѣвшимъ абажуромъ. И я зналъ почему-то, что въ этомъ спокойномъ кругѣ съ нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще

болѣе жуткая и угнетающая, чѣмъ бѣшенный хаосъ моихъ сновидѣній.

Потомъ я просыпался, или, вѣрнѣе, не просыпался, а внезапно заставлялъ себя бодрствующимъ. Сознаніе почти возвращалось ко мнѣ. Я понималъ, что лежу въ постели, что я боленъ, что только-что бредилъ, но свѣтлый кругъ на темномъ потолкѣ все-таки пугалъ меня затаенной зловѣщей угрозой. Слабою рукой дотрагивался я до часовъ, смотрѣлъ на нихъ и съ тоскливымъ недоумѣніемъ убѣждался, что вся безконечная вереница моихъ уродливыхъ сновъ заняла не болѣе двухъ-трехъ минутъ. «Господи! Да когда-же настанетъ разсвѣтъ!» — съ отчаяніемъ думалъ я, мечась головой по горячимъ подушкамъ и чувствуя, какъ опалаетъ мнѣ губы мое собственное тяжелое и короткое дыханіе... Но вотъ опять овладѣвала мною тонкая дремота, и опять мозгъ мой дѣлался игрищемъ пестраго кошмара, и опять черезъ двѣ минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Черезъ шесть дней моя крѣпкая натура, вмѣстѣ съ помощью хинина и настоя подорожника, побѣдила болѣзнь. Я всталъ съ постели весь разбитый, едва держась на ногахъ. Выздоровленіе совершалось съ жадной быстротой. Въ головѣ, утомленной шести-

дневнымъ лихорадочнымъ бредомъ, чувствовалось теперь лѣнливое и пріятное отсутствіе мыслей. Аппетитъ явился въ удвоенномъ размѣрѣ, и тѣло мое крѣпло по часамъ, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ новой силой потянуло меня въ лѣсъ, въ одинокую, покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый разъ, вызывая въ памяти лицо и голосъ Олеси, я чувствовалъ такое нѣжное умиленіе, что мнѣ хотѣлось плакать.

Х.

Прошло еще пять дней, и я настолько окрѣпъ, что пѣшкомъ, безъ малѣйшей усталости, дошелъ до избушки на курьихъ ножкахъ. Когда я ступилъ на ея порогъ, то сердце забилось съ тревожнымъ страхомъ у меня въ груди. Почти двѣ недѣли не видалъ я Олеси и теперь особенно ясно понялъ, какъ была она мнѣ близка и мила. Держась за скобку двери, я нѣсколько секундъ медлилъ и едва переводилъ дыханіе. Въ нерѣшимости я даже закрылъ глаза на нѣкоторое время, прежде чѣмъ толкнуть дверь...

Въ впечатлѣніяхъ, подобныхъ тѣмъ, которыя послѣдовали за моимъ входомъ, ни-

когда невозможно разобраться... Развѣ можно запомнить слова, произносимыя въ первые моменты встрѣчи матерью и сыномъ, мужемъ и женой, или двумя влюбленными? Говорятся самыя простыя, самыя обиходныя фразы, смѣшныя даже, если ихъ записывать съ точностью на бумагѣ. Но здѣсь каждое слово умѣстно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самымъ дорогимъ на свѣтѣ голосомъ.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мнѣ быстро обернулось блѣдное лицо Олеси, и что на этомъ прелестномъ, новомъ для меня лицѣ въ одно мгновеніе отразились, смѣняя другъ друга, недоумѣніе, испугъ, тревога и нѣжная, сіяющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возлѣ меня, но я не слышалъ ея привѣтствій. Голосъ Олеси донесся до меня, какъ сладкая музыка:

— Что съ вами случилось? Вы были больны? Охъ, какъ-же вы исхудали, бѣдный мой.

Я долго не могъ ей ничего отвѣтить, и мы молча стояли другъ противъ друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря другъ другу въ глаза. Эти нѣсколько молчаливыхъ секундъ я всегда считаю самыми счастливыми въ моей жизни, — никогда, никогда, ни раньше ни позднѣе, я не испытывалъ

такого чистаго, полнаго, всепоглощающаго восторга. И какъ много я читалъ въ большихъ темныхъ глазахъ Олеси: и волненіе встрѣчи, и упрекъ за мое долгое отсутствіе, и горячее признаніе въ любви... Я почувствовалъ, что вмѣстѣ съ этимъ взглядомъ Олеся отдаетъ мнѣ радостно, безъ всякихъ условій и колебаній, все свое существо.

Она первая нарушила это очарованіе, указавъ мнѣ медленнымъ движеніемъ вѣкъ на Мануйлиху. Мы усѣлись рядомъ, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходѣ моей болѣзни, о лѣкарствахъ, которыя я принималъ, о словахъ и мнѣніяхъ доктора (два раза пріѣзжавшаго ко мнѣ изъ мѣстечка). Про доктора она заставила меня рассказать нѣсколько разъ подъ рядъ, и я порою замѣчалъ на ея губахъ бѣглую насмѣшливую улыбку.

— Ахъ, зачѣмъ я не знала, что вы захворали! — воскликнула она съ нетерпѣливымъ сожалѣніемъ. — Я-бы въ одинъ день васъ на ноги поставила... Ну, какъ-же имъ можно довѣриться, когда они ничего, ни-че-го не понимаютъ? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь-ли, Олеся... это и случилось такъ внезапно... и кромѣ того я боялся тебя беспокоить. Ты въ послѣднее время стала со

мною какая-то странная, точно все сердилась на меня, или надоѣлъ я тебѣ... Послушай, Олеся, — прибавилъ я, понижая голосъ: --- намъ съ тобой много, много нужно поговорить... только однимъ... понимаешь?

Она тихо опустила вѣки въ знакъ согласія, потомъ боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да... я и сама хотѣла... потомъ... подождите...

Едва только закатилось солнце, какъ Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорѣе, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если васъ теперь сыростью охватить, — болѣзнь сейчасъ-же назадъ вернется.

— А ты куда-же, Олеся? — спросила вдругъ Мануйлиха, видя, что ея внучка поспѣшно набросила на голову большой сѣрый шерстяной платокъ.

— Пойду... провожу немножко, — отвѣтила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а въ окно, но въ ея голосъ я уловилъ чуть замѣтный оттѣнокъ раздраженія.

— Пойдешь-таки? — съ удареніемъ переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и въ упоръ остановились на лицѣ Мануйлихи.

— Да, и пойду!—возразила она надменно.— Ужъ давно объ этомъ говорено и переговорено... Мое дѣло, мой и отвѣтъ.

— Эхъ, ты!.. — съ досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотѣла еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой въ уголъ и, кряхтя, закопошилась тамъ надъ какой-то корзиной.

Я понялъ, что этотъ быстрый недовольный разговоръ, которому я только-что былъ свидѣтелемъ, служить продолженіемъ длиннаго ряда взаимныхъ ссоръ и вспышекъ. Спускаясь рядомъ съ Олесей къ бору, я спросилъ ее:

— Бабушка не хочетъ, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся съ досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайтесь на это вниманія. Ну да, не хочетъ... Что-жъ!.. Развѣ я не вольна дѣлать, что мнѣ нравится?

Во мнѣ вдругъ поднялось неудержимое желаніе упрекнуть Олесю за ея прежнюю суровость.

— Значить, и раньше, еще до моей болѣзни, ты тоже могла, но только не хотѣла оставаться со мною одинъ-на-одинъ... Ахъ, Олеся, если-бы ты знала, какую ты причиняла мнѣ

боль... Я такъ ждалъ, такъ ждалъ каждый вечеръ, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, какъ ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчикъ... Забудьте это, — съ мягкимъ извиненіемъ въ голосъ попросила Олеся.

— Нѣтъ, я вѣдь не въ укоръ тебѣ говорю, — такъ къ слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А вѣдь сначала — право, даже смѣшно и вспомнить — я подумалъ, что ты обидѣлась на меня изъ-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мнѣ казалось, что ты меня такимъ далекимъ, чужимъ человѣкомъ считаешь, что даже простую дружескую услугу тебѣ отъ меня трудно принять... Очень мнѣ это было горько... Я вѣдь и не подозрѣвалъ Олеся, что все это отъ бабушки идетъ...

Лицо Олеси вдругъ вспыхнуло яркимъ румянцемъ.

— И вовсе не отъ бабушки!.. Сама я этого не хотѣла! — горячо, съ задоромъ воскликнула она.

Я поглядѣлъ на нее сбоку, такъ что мнѣ сталъ виденъ чистый, нѣжный профиль ея слегка наклоненной головы. Только теперь я замѣтилъ, что и сама Олеся похудѣла за

это время, и вокруг ея глазъ легли голубоватая тѣни. Почувствовавъ мой взглядъ, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчасъ же опустила ихъ и отвернулась съ застѣнчивой улыбкой.

— Почему ты не хотѣла, Олеся? Почему? — спросилъ я обрывающимся отъ волненія голосомъ и, схвативъ Олеся за руку, заставилъ ее остановиться.

Мы въ это время находились какъ разъ на серединѣ длинной, узкой и прямой, какъ стрѣла, лѣсной просѣки. Высокія, стройныя сосны обступали насъ съ обѣихъ сторонъ, образуя гигантскій, уходящій вдаль коридоръ со сводомъ изъ душистыхъ сплетшихся вѣтвей. Голые, облупившіеся стволы были окрашены багровымъ отблескомъ догорающей зари...

— Почему? Почему, Олеся? — твердилъ я шопотомъ и все сильнѣе сжималъ ея руку.

— Я не могла... Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти отъ судьбы... А теперь... теперь...

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуха, и вдругъ ея руки быстро и крѣпко обвились вокругъ моей шеи, и мои губы сладко обжегъ торопливый, дрожащій шопоть Олеси:

— Теперь мнѣ все равно, все равно!... Пото-

му что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мнѣ все сильнѣе, и я чувствовалъ, какъ трепетало подъ моими руками ея сильное, крѣпкое, горячее тѣло, какъ часто билось около моей груди ея сердце. Ея страстные поцѣлуи вливались въ мою еще не окрѣпшую отъ болѣзни голову, какъ пьяное вино, и я началъ терять самообладаніе.

— Олесья, ради Бога, не надо... оставь меня, — говорилъ я, стараясь разжать ея руки. — Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пусти меня, Олесья.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно освѣтилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленькій. — сказала она съ непередаваемымъ выраженіемъ нѣжной ласки и трогательной смѣлости. — Я никогда не попрекну тебя, ни къ кому ревновать не стану... Скажи только: любишь-ли?

— Люблю, Олесья. Давно люблю и крѣпко люблю. Но... не цѣлуй меня больше... Я слабѣю, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ея губы опять долго и мучительно-сладко прильнули къ моимъ, и я не услышалъ, а скорѣе угадалъ ея слова:

— Ну, такъ и не бойся и не думай ни о чемъ больше... Сегодня нашъ день, и никто у насъ его не отниметъ...

.
И вся эта ночь слилась въ какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошелъ мѣсяцъ, и его сіяніе причудливо, пестро и таинственно расцвѣтило лѣсъ, легло среди мрака нервными, изсиня-блѣдными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкій, какъ плюшевый коверъ, мохъ. Тонкіе стволы березъ бѣлѣли рѣзко и отчетливо, а на ихъ рѣдкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Мѣстами свѣтъ вовсе не проникалъ подъ густой навѣсъ сосновыхъ вѣтвей. Тамъ стоялъ полный, непроницаемый мракъ, и только въ самой серединѣ его скользнувшей невѣдомо откуда лучъ вдругъ ярко озарялъ длинный рядъ деревьевъ и бросалъ на землю узкую правильную дорожку, — такую свѣтлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественнаго шествія Оберона и Титаніи. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, безъ единого слова, подавленные своимъ счастіемъ и жуткимъ безмолвіемъ лѣса.

— Дорогой мой, а я вѣдь и забыла совсѣмъ, что тебѣ домой надо спѣшить, — спохвати-

лась вдругъ Олеся. — Вотъ какая гадкая! Ты только-что выздоровѣлъ, а я тебя до сихъ поръ въ лѣсу держу.

Я обнялъ ее и откинулъ платокъ съ ея густыхъ темныхъ волосъ и, наклонясь къ ея уху, спросилъ чуть слышно:

— Ты не жалѣешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

— Нѣтъ, нѣтъ... Что-бы потомъ ни случилось, я не пожалѣю. Мнѣ такъ хорошо...

— А развѣ непременно должно что-нибудь случиться?

Въ ея глазахъ мелькнуло отраженіе знакомаго мнѣ мистическаго ужаса.

— О, да, непременно... Помнишь, я тебѣ говорила про трефовую даму? Вѣдь эта трефовая дама — я, это со мной будетъ несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я вѣдь хотѣла тебя попросить, чтобы ты и вовсе у насъ пересталъ бывать. А тутъ какъ разъ ты заболѣлъ, и я тебя чуть ни полмѣсяца не видала... И такая меня по тебѣ тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все-бы на свѣтѣ отдала, лишь-бы съ тобой хоть минуточку еще побыть... Вотъ тогда-то я и рѣшилась. Пусть, думаю, что будетъ, то и будетъ, а я своей радости никому не отдамъ...

— Это правда, Олеся. Это и со мной такъ было, — сказалъ я, прикасаясь губами къ ея виску. — Я до тѣхъ поръ не зналъ, что люблю тебя, покамѣстъ не разстался съ тобой. Не даромъ, видно, кто-то сказалъ, что разлука для любви то-же, что вѣтеръ для огня: маленькую любовь она тушить, а большую раздуваетъ еще сильнѣй.

— Какъ ты сказалъ? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторилъ еще разъ это, не знаю кому принадлежащее изреченіе. Олеся задумалась, и ея увидѣлъ по движенію ея губъ, что она повторяетъ мои слова.

Я близко вглядывался въ ея блѣдное, закинутое назадъ лицо, въ ея большіе черные глаза съ блестящими въ нихъ яркими лунными бликами, — и смутное предчувствіе близкой бѣды вдругъ внезапнымъ холодомъ заползло въ мою душу.

XI.

Почти цѣлый мѣсяцъ продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сихъ поръ вмѣстѣ съ прекраснымъ обликомъ Олеси живутъ съ неувядающей силой въ моей душѣ эти пылающія вечернія зори,

эти росистыя, благоухающія ландышами и медомъ утра, полныя бодрой свѣжести и звонкаго птичьяго гама, эти жаркіе, томные, лѣтніе іюньскіе дни... Ни разу ни скука, ни утомленіе, ни вѣчная страсть къ бродячей жизни не шевельнулись за это время въ моей душѣ. Я, какъ языческій богъ или какъ молодое, сильное животное, наслаждался свѣтомъ, тепломъ, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала послѣ моего выздоровленія такъ несносно-брюзглива, встрѣчала меня съ такой откровенной злобой и, покамѣстъ я сидѣлъ въ хатѣ съ такимъ шумнымъ ожесточеніемъ двигала горшками въ печкѣ, что мы съ Олесей предпочли сходитья каждый вечеръ въ лѣсу... И величественная зеленая прелесть бора, какъ драгоцѣнная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все съ большимъ удивленіемъ находилъ, что Олеся — эта выросшая среди лѣса, не умѣющая даже читать дѣвушка — во многихъ случаяхъ жизни проявляетъ чуткую деликатность и особенный, врожденный тактъ. Въ любви — въ прямомъ, грубомъ ея смыслѣ — всегда есть ужасныя стороны, составляющія мученье и стыдъ для нервныхъ художественныхъ натуръ. Но Олеся

умѣла избѣгать ихъ съ такой наивной цѣломудренностью, что ни разу ни одно дурное сравненіе, ни одинъ циничный моментъ не оскорбили нашей связи.

Между тѣмъ приближалось время моего отъѣзда. Собственно говоря, всѣ мои служебныя обязанности въ Перебродѣ были уже покончены, и я умышленно оттягивалъ срокъ моего возвращенія въ городъ. Я еще ни слова не говорилъ объ этомъ Олесѣ, боясь даже представить себѣ, какъ она приметъ мое извѣщеніе о необходимости уѣхать. Вообще я находился въ затруднительномъ положеніи. Привычка пустила во мнѣ слишкомъ глубокіе корни. Видѣть ежедневно Олесю, слышать ея милый голосъ и звонкій смѣхъ, ощущать нѣжную прелесть ея ласки — стало для меня больше, чѣмъ необходимою. Въ рѣдкіе дни, когда ненастье мѣшало намъ встрѣчаться, я чувствовалъ себя точно потеряннымъ, точно лишеннымъ чего-то самаго главнаго, самаго важнаго въ моей жизни. Всякое занятіе казалось мнѣ скучнымъ, лишнимъ, и все мое существованіе стремилось въ лѣсъ, къ теплу, къ свѣту, къ милому, привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесѣ все чаще и чаще приходила мнѣ въ голову. Сначала она лишь изрѣдка представлялась мнѣ, какъ возмож-

ный, на крайній случай, честный исходъ изъ нашихъ отношеній. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смѣлъ даже воображать себѣ, какова будетъ Олеся, одѣтая въ модное платье, разговаривающая въ гостиной съ женами моихъ сослуживцевъ, исторгнутая изъ этой очаровательной рамки стараго лѣса, полного легендъ и таинственныхъ силъ.

Но чѣмъ ближе подходило время моего отъѣзда, тѣмъ большій ужасъ одиночества и большая тоска овладѣвали мною. Рѣшеніе жениться съ каждымъ днемъ крѣпло въ моей душѣ, и подъ конецъ я уже пересталъ видѣть въ немъ дерзкій вызовъ обществу. «Женятся же хорошіе и ученые люди на швейкахъ, на горничныхъ, — утѣшалъ я себя: — и живутъ прекрасно, и до конца дней своихъ благословляютъ судьбу, толкнувшую ихъ на это рѣшеніе. Не буду-же я несчастнѣе другихъ, въ самомъ дѣлѣ?»

Однажды въ серединѣ іюня, подъ вечеръ, я, по обыкновенію, ожидалъ Олеся на поворотѣ узкой лѣсной тропинки между кустами цвѣтущаго боярышника. Я еще издали узналъ легкій, быстрый шумъ ея шаговъ.

— Здравствуй, мой родненькій, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. —

Заждался, небось? А я насилу-насилу вырвалась... Все съ бабушкой воевала.

— До сихъ поръ не утихла?

— Куда тамъ! «Ты, говорить, пропадешь изъ-за него... Натѣшится онъ тобою вволю, да и бросить. Не любить онъ тебя вовсе...»

— Это она про меня такъ?

— Про тебя, милый... Вѣдь я все равно ни одному ея словечку не вѣрю.

— А она все знаетъ?

— Не скажу навѣрно... кажется, знаетъ. Я съ ней, впрочемъ, объ этомъ ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что объ этомъ думать... Пойдемъ.

Она сорвала вѣтку боярышника съ пышнымъ гнѣздомъ бѣлыхъ цвѣтовъ и воткнула себѣ въ волосы. Мы медленно пошли по тропинкѣ, чуть розовѣвшей на вечернемъ солнцѣ.

Я еще прошлой ночью рѣшилъ во что-бы то ни стало высказаться въ этотъ вечеръ. Но странная робость отяжеляла мой языкъ. Я думалъ: если я скажу Олесѣ о моемъ отѣздѣ и о женитьбѣ, то повѣритъ-ли она мнѣ? Не покажется-ли ей, что я своимъ предложениемъ только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вотъ какъ дойдемъ до того клена съ ободраннымъ стволомъ, такъ сейчасъ-же и начну», — назначилъ я себѣ мысленно. Мы ровнялись съ кленомъ, и

я, блѣднѣя отъ волненія, уже переводилъ дыханіе, чтобы начать говорить, но внезапно моя смѣлость ослабѣвала, разрѣшаясь нервнымъ, болѣзненнымъ біеніемъ сердца и холодомъ во рту. «Двадцать семь — мое фекральное число, — думалъ я нѣсколько минутъ спустя: — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать въ умѣ, но когда доходилъ до двадцати семи, то чувствовалъ, что рѣшимость еще не созрѣла во мнѣ. «Нѣтъ, — говорилъ я себѣ: — лучше ужъ буду продолжать считать до шестидесяти, — это составитъ какъ разъ цѣлую минуту, — и тогда непременно, непременно...»

— Что такое сегодня съ тобой? — спросила вдругъ Олеся. — Ты думаешь о чемъ-то непріятномъ. Что съ тобой случилось?

Тогда я заговорилъ, но заговорилъ какимъ-то самому мнѣ противнымъ тономъ, съ напускной, неестественной небрежностью, точно дѣло шло о самомъ пустячномъ предметѣ.

— Дѣйствительно, есть маленькая непріятность... ты угадала, Олеся... Видишь-ли, моя служба здѣсь окончена, и меня начальство вызываетъ въ городъ.

Мелькомъ, сбоку я взглянулъ на Олесю и увидѣлъ, какъ сбѣжала краска съ ея лица, и какъ задрожали ея губы. Но она не отвѣтила мнѣ ни слова. Нѣсколько минутъ я молча

шелъ съ ней рядомъ. Въ травѣ громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный, напряженный скрипъ коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять началъ я: — что мнѣ здѣсь оставаться неудобно и негдѣ, да наконецъ и службой пренебрегать нельзя...

— Нѣтъ... что-же... тутъ и говорить нечего, — отозвалась Олеся, какъ будто-бы спокойно, но такимъ глухимъ, безжизненнымъ голосомъ, что мнѣ стало жутко. — Если служба, то, конечно... надо ѣхать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиною объ его стволъ, вся блѣдная, съ безсильно упавшими вдоль тѣла руками, съ жалкой, мучительной улыбкой на губахъ. Ея блѣдность испугала меня. Я кинулся къ ней и крѣпко сжалъ ея руки.

— Олеся... что съ тобой? Олеся... милая!..

— Ничего... извините меня... это пройдетъ. Такъ... голова закружилась...

Она сдѣлала надъ собой усиліе и прошла впередъ, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мнѣ дурно подумала, — сказалъ я съ упрекомъ. — Стыдно тебѣ! Неужели и ты думаешь, что я могу уѣхать, бросивъ тебя? Нѣтъ, моя дорогая. Я потому и началъ этотъ разговоръ, что хочу

сегодня-же пойти къ твоей бабушкѣ и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсѣмъ неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нѣтъ, Ванечка милый, это невозможно!

— Почему-же, Олеся? Почему?

— Нѣтъ, нѣтъ... Ты и самъ понимаешь, что объ этомъ смѣшно и думать. Ну какая я тебѣ жена на самомъ дѣлѣ? Ты—баринъ, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умѣю, и куда ступить не знаю... Ты одного стыда изъ-зъ меня не оберешься...

— Это все глупости, Олеся! — возразилъ я горячо. — Ты черезъ полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозрѣваешь даже, сколько въ тебѣ врожденнаго ума и наблюдательности. Мы съ тобой вмѣстѣ прочитаемъ много хорошихъ книжекъ, познакомимся съ добрыми, умными людьми, мы съ тобой весь широкій свѣтъ увидимъ, Олеся... Мы до старости, до самой смерти будемъ итти рука оба руку, вотъ какъ теперь идемъ, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую рѣчь Олеся отвѣтила мнѣ признательнымъ пожатіемъ руки, но продолжала стоять на своемъ.

— Да развѣ это одно?.. Можетъ-быть, ты

еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебѣ... Вѣдь у меня отца нѣтъ... Я незаконная...

— Перестань, Олеся... Это меньше всего меня останавливаетъ. Что мнѣ за дѣло до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже цѣлаго міра? Нѣтъ, все это мелочи, все это пустыя отговорки!..

Олеся съ тихой, покорной лаской прижалась плечомъ къ моему плечу.

— Голубчикъ... Лучше-бы ты вовсе объ этомъ не начиналъ разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватало бы духу связать тебя по рукамъ и по ногамъ на всю жизнь... Ну, а если тебѣ потомъ другая понравится? Вѣдь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тотъ день и часъ, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — съ мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мнѣ непріятны эти слова. — Я не хочу тебя обидѣть. Я вѣдь только о твоемъ счастьѣ думаю. Наконецъ ты позабылъ про бабушку. Ну, посуди самъ, развѣ хорошо будетъ съ моей стороны ее одну оставить?

— Что-жъ... и бабушкѣ у насъ мѣсто найдется. (Признаться, мысль о бабушкѣ меня сильно покорила). А не захочетъ она у насъ жить, такъ во всякомъ городѣ есть такіе дома... они называются богадѣльнями...

гдѣ такимъ старушкамъ даютъ и покой и уходъ внимательный...

— Нѣтъ, что ты! Она изъ лѣса никуда не поидеть. Она людей боится.

— Ну, такъ ты ужъ сама придумывай, Олеса, какъ лучше. Тебѣ придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что безъ тебя мнѣ и жизнь будетъ противна.

— Солнышко мое! — съ глубокой нѣжностью произнесла Олеса. — Ужъ за одни твои слова спасибо тебѣ... Отогрѣлъ ты мое сердце.. Но все-таки замужъ я за тебя не пойду... Лучше ужъ я такъ пойду съ тобой, если не прогонишь... Только не спѣши, пожалуйста, не торопи меня.. Дай мнѣ денька два, я все это хорошенько обдумаю... И съ бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеса, — спросилъ я, ослѣненный новой догадкой. — А можетъ-быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что съ этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорилъ я съ Олесей, стараясь разубѣдить ее въ мнимомъ проклятіи, тяготящемъ надъ ея родомъ, вмѣстѣ съ обладаніемъ чародѣйными силами. Въ сущности, въ каждомъ русскомъ интеллигентѣ сидитъ немножко развивателя. Это у насъ въ крови, это внѣдрено намъ всей русской бел-

летристикой послѣднихъ десятилѣтій. Почему знать? — если-бы Олеся глубоко вѣровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковнаго служенія, — весьма возможно, что тогда я сталъ-бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда былъ вѣрующимъ человѣкомъ) надъ ея религіозностью и развивать въ ней критическую пытливость ума. Но она съ твердой и наивной убѣжденностью исповѣдывала свое общеніе съ темными силами и свое отчужденіе отъ Бога, о которомъ она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суевѣріе Олеси. Всѣ мои логическіе выводы, всѣ мои, иной разъ грубыя и злыя насмѣшки разбивались объ ея покорную увѣренность въ свое таинственное роковое призваніе.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторилъ я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что Богъ не приметъ тебя? — продолжалъ я съ возрастающей горячностью. — Что у Него не хватитъ для тебя милосердія? У Того, который, повелѣвая милліонами ангеловъ, сошелъ однако на землю и принялъ ужасную, позорную смерть для избавленія всѣхъ людей? У Того, кто не погнушался раскаяніемъ самой послѣдней жен-

щины и общалъ разбойнику-убійцѣ, что онъ сегодня-же будетъ съ Нимъ въ раю?..

Все это было уже не ново Олесѣ въ моемъ толкованіи, но на этотъ разъ она даже и слушать меня не стала. Она быстрымъ движеніемъ сбросила съ себя платокъ и, скомкавъ его, бросила мнѣ въ лицо. Началась возня. Я старался отнять у нея цвѣтокъ боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смѣясь и протягивая мнѣ свои раскрытыя частымъ дыханіемъ, влажныя, милыя губы...

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое разстояніе, я вдругъ услышалъ за собою голосъ Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку... Я тебѣ что-то скажу!

Я повернулся и пошелъ къ ней на встрѣчу. Олесья поспѣшно подбѣжала ко мнѣ. На небѣ уже стоялъ тонкій серебряный зазубренный серпъ молодого мѣсяца, и при его блѣдномъ свѣтѣ я увидѣлъ, что глаза Олеси полны крупныхъ невылившихся слезъ.

— Олесья, о чемъ ты? — спросилъ я тревожно.

Она схватила мои руки и стала ихъ цѣловать поочередно.

— Милый... какой ты хорошій! Какой ты добрый! — говорила она дрожащимъ го-

лосомъ. — Я сейчас шла и подумала: какъ ты меня любишь!.. И знаешь, мнѣ ужасно хочется сдѣлать тебѣ что-нибудь очень, очень пріятное.

— Олеся... Дѣвочка моя славная, успокойся...

— Послушай, скажи мнѣ, — продолжала она: — ты-бы очень былъ доволенъ, если-бы я когда-нибудь пошла въ церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдругъ мелькнула въ головѣ суевѣрная мысль: а не случится-ли отъ этого какого-нибудь несчастья?

— Что-же ты молчишь? Ну, говори скорѣе, былъ бы ты этому радъ, или тебѣ все равно?

— Какъ тебѣ сказать, Олеся? — началъ я съ запинкой. — Ну, да, пожалуй, мнѣ это было-бы пріятно. Я вѣдь много разъ говорилъ тебѣ, что мужчина можетъ не вѣрить, сомнѣваться, даже смѣяться наконецъ. Но женщина... женщина должна быть набожна безъ разсужденій. Въ той простой и нѣжной до вѣрчивости, съ которой она отдаетъ себя подъ защиту Бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчалъ. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачѣмъ ты меня объ этомъ спросила? —
полюбопытствовалъ я.

Она вдругъ вострепелась.

— Такъ себѣ... Просто спросила... Ты не
обращай вниманія. Ну, до свиданія, милый.
Приходи-же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядѣлъ въ
темноту, прислушиваясь къ частымъ, удаляв-
шимся отъ меня шагамъ. Вдругъ внезапный
ужасъ предчувствія охватилъ меня. Мнѣ не-
удержимо захотѣлось побѣжать вслѣдъ за
Олесею, догнать ее и просить, умолять, даже
требовать, если нужно, чтобы она не шла
въ церковь. Но я сдержалъ свой неожиданный
порывъ и даже — помню — пускаясь въ до-
рогу, проговорилъ вслухъ:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванеч-
ка, заразились суевѣріемъ.

О, Боже мой! Зачѣмъ я не послушался тогда
смутнаго влеченія сердца, которое — я те-
перь безусловно вѣрю въ это! — никогда
не ошибается въ своихъ быстрыхъ тайныхъ
предчувствіяхъ.

XII.

На другой день послѣ этого свиданія при-
шелся какъ разъ праздникъ св. Троицы, вы-
павшій въ этомъ году на день великомуче-

ника Тимоеея, когда, по народнымъ сказаніямъ, бываютъ знаменія передъ неурожаемъ. Село Перебродъ въ церковномъ отношеніи считалось приписнымъ, т.-е. въ немъ хотя и была своя церковь, но отдѣльнаго священника при ней не полагалось, а наѣзжалъ изрѣдка, постомъ и по большимъ праздникамъ, священникъ села Волчьяго.

Мнѣ въ этотъ день необходимо было съѣздить по служебнымъ дѣламъ въ сосѣднее мѣстечко, и я отправился туда часовъ въ восемь утра, еще по холодку, верхомъ. Для разѣздовъ я давно уже купилъ себѣ небольшого жеребчика лѣтъ 6 — 7, происходившаго изъ мѣстной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленнаго прежнимъ владѣльцемъ, уѣзднымъ землемѣромъ. Лошадь звали Таранчикомъ. Я сильно привязался къ этому милому животному съ крѣпкими, тоненькими, точеными ножками, съ косматой чолкой, изъ-подъ которой сердито и недоувѣрчиво выглядывали огненные глазки, съ крѣпкими, энергично сжатыми губами. Масти онъ былъ довольно рѣдкой и смѣшной: весь сѣрый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрыя, бѣлыя и черныя пятна.

Мнѣ пришлось проѣзжать черезъ все село. Большая зеленая площадь, идущая отъ церкви до кабака, была сплошь занята длинны-

ми рядами телѣгъ, въ которыхъ съ женами и дѣтьми пріѣхали на праздникъ крестьяне окрестныхъ деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телѣгами сновали люди. Несмотря на ранній часъ и строгія постановленія, между ними уже замѣчались пьяные (водкой по праздникамъ и въ ночное время торговалъ потихоньку бывший шинкаръ Сруль). Утро было безвѣтреное, душное. Въ воздухахъ парило, и день обѣщалъ быть нестерпимо жаркимъ. На раскаленномъ и точно подернутомъ серебристой пылью небѣ не показывалось ни одного облачка.

Справивъ все, что мнѣ нужно было въ мѣстечкѣ, я перекусилъ на скорую руку въ заѣдемъ домѣ фаршированной еврейской щучкой, запилъ ее пресквернымъ, мутнымъ пивомъ и отправился домой. Но проѣзжая мимо кузницы, я вспомнилъ, что у Таранчика давно уже хлябаетъ подкова на лѣвой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, такъ что, когда я подъѣзжалъ къ перебродской околицѣ, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя-кишѣла пьянымъ, галдящимъ народомъ. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя другъ друга, покупатели; перебродскіе крестьяне

перемѣшались съ прїѣзжими, разсѣвшись на травѣ, въ тѣни повозокъ. Повсюду виднѣлись запрокинутыя назадъ головы и поднятыя вверхъ бутылки. Трезвыхъ уже не было ни одного человѣка. Общее опьянѣніе дошло до того предѣла, когда мужикъ начинаетъ бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда всѣ движенія его прїобрѣтають разслабленную и грузную размашистость, когда вмѣсто того, напрімѣръ, чтобы утвердительно кивнуть головой, онъ осѣдаетъ внизъ всѣмъ туловищемъ, сгибаетъ колѣни и, вдругъ потерявъ устойчивость, безпомощно пятится назадъ. Ребятишки возились и визжали тутъ же, подъ ногами лошадей, равнодушно жевавшихъ сѣно. Въ иномъ мѣстѣ баба, сама еле держась на ногахъ, съ плачемъ и руганью тащила домой за рукавъ упиравшагося, безобразно пьянаго мужа... Въ тѣни забора густая кучка, человѣкъ въ двадцать мужиковъ и бабъ, тѣсно обсѣла слѣпого лирника, и его дрожащій, гнусавый теноръ, сопровождаемый звенящимъ монотоннымъ жужжаніемъ инструмента, рѣзко выдѣлялся изъ сплошного гула толпы. Еще издали слышалъ я знакомыя слова «думки»:

Ой зійшла зоря, тай вечирняя
Надъ Почаевымъ стала.

Ой вышло вѣйско турецкое,
Якъ та черная хмара...

Дальше въ этой думкѣ разсказывается о томъ, какъ турки, не осиливъ Почаевской лавры приступомъ, порѣшили взять ее хитростью. Съ этой цѣлью они послали, какъ будто-бы въ даръ монастырю, огромную свѣчу, начиненную порохомъ. Привезли эту свѣчу на двѣнадцати парахъ воловъ, и обрадованные монахи уже хотѣли возжечь ее передъ иконой Почаевской Божіей Матери, но Богъ не допустилъ совершиться злодѣйскому замыслу.

А приснилось старшему чтецу:
Той свичи не брати,
Вывезти еи въ чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вотъ иноки

Вывезлы еи въ чистое поле,
Сталы еи рубати,
Кули и патроны на вси стороны.
Сталы — геть! — роскидати...

Невыносимо жаркій воздухъ, казалось, весь былъ насыщенъ отвратительнымъ смѣшаннымъ запахомъ перегорѣвшей водки, лука, овчинныхъ тулуповъ, крѣпкой махорки-бакуна и испареній грязныхъ человѣческихъ

тѣль. Пробираясь осторожно между людьми и съ трудомъ удерживая мотавшаго головой Таранчика, я не могъ не замѣтить, что со всѣхъ сторонъ меня провожали безцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Противъ обыкновенія, ни одинъ человекъ не снялъ шапки, но шумъ какъ будто-бы утихъ при моемъ появленіи. Вдругъ гдѣ-то въ самой серединѣ толпы раздался пьяный, хриплый выкрикъ, который я однако ясно не слышалъ, но въ отвѣтъ на него раздался сдержанный хохотъ. Какой-то женскій голосъ сталъ испуганно урезонивать горлана:

— Тише, ты, дурень... Чего орешь! Услышать...

— А что мнѣ, что услышать? — продолжалъ задорно мужикъ. — Что-же онъ мнѣ, начальство, что-ли? Онъ только въ лѣсу у своей

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла въ воздухѣ вмѣстѣ со взрывомъ неистоваго хохота. Я быстро повернулъ назадъ лошадь и судорожно сжалъ рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видитъ, ни о чемъ не думаетъ и ничего не боится. И вдругъ странная, болѣзненная, тоскливая мысль промелькнула у меня въ головѣ: «Все это уже происходило

когда-то, много, много лѣтъ тому назадъ въ моей жизни... Такъ-же горячо палило солнце... Такъ-же была залита шумящимъ, возбужденнымъ народомъ огромная площадь... Такъ-же обернулся я назадъ въ припадкѣ бѣшенago гнѣва... Но гдѣ это было? Когда? Когда?..» Я опустилъ нагайку и галопомъ поскакалъ къ дому.

Ярмола, медленно вышедшій изъ кухни, принялъ у меня лошадь и сказалъ грубо:

— Тамъ, панычъ, у васъ въ комнатѣ сидитъ изъ Мариновской экономіи приказчикъ.

Мнѣ почудилось, что онъ хочетъ еще что-то прибавить, очень важное для меня и непріятное, мнѣ показалось даже, что по лицу его скользнуло бѣглое выраженіе злой насмѣшки. Я нарочно задержался въ дверяхъ и съ вызовомъ оглянулся на Ярмолу. Но онъ уже, не глядя на меня, тащилъ за узду лошадь, которая вытягивала впередъ шею и осторожно переступала ногами.

Въ моей комнатѣ я засталъ конторщика соседняго имѣнія — Никиту Назарыча Мищенку. Онъ былъ въ сѣромъ пиджачкѣ съ огромными рыжими клѣтками, въ узкихъ брючкахъ васильковаго цвѣта и въ огненно-красномъ галстукѣ, съ припомаженнымъ проборомъ по срединѣ головы, весь благоухающій персидской сиренью. Увидѣвъ меня,

онъ вскочилъ со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а какъ-то ломаясь въ поясницѣ, съ улыбкой, обнажавшей блѣдныя десны обѣихъ челюстей.

— Имѣю честь кланяться, — любезно тараторилъ Никита Назарычъ. — Очень приятно увидѣться... А я ужъ тутъ жду васъ съ самой обѣдни. Давно я васъ видѣлъ, даже соскучился за вами. Что это вы къ намъ никогда не заглянете? Наши степаньскія барышни даже смѣются съ васъ.

И вдругъ, подхваченный внезапнымъ воспоминаніемъ, онъ разразился неудержимымъ хохотомъ.

— Вотъ, я вамъ скажу, потѣха-то была сегодня! — воскликнулъ онъ, давась и прыскавая. — Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвалъ со смѣху!..

— Что такое? Что за потѣха? — грубо спросилъ я, не скрывая своего неудовольствія.

— Послѣ обѣдни скандалъ здѣсь произошелъ, — продолжалъ Никита Назарычъ, прерывая свою рѣчь залпами хохота. — Перебродскія дивчата... Нѣтъ, ей-Богу, не выдержу... Перебродскія дивчата поймали здѣсь на площади вѣдьму... То-есть, конечно, онѣ ее вѣдьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали-же онѣ ей встряс-

ку!.. Хотѣли дегтемъ вымазать, да она вывернулась какъ-то, утекла...

Страшная догадка блеснула у меня въ умѣ. Я бросился къ конторщику и, не помня себя отъ волненія, крѣпко вцѣпился рукой въ его плечо.

— Что вы говорите! — закричалъ я неистовымъ голосомъ. — Да перестаньте же ржать, чортъ васъ подери! Про какую вѣдьму вы говорите?

Онъ вдругъ сразу пересталъ смѣяться и выпучилъ на меня круглые, испуганные глаза.

— Я... я... право, не знаю-сь, — растерянно залепеталъ онъ. — Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... Позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тутъ что-то такое болтали мужики, но я, признаться, запомнилъ.

Я заставилъ его рассказать мнѣ по порядку все, что онъ видѣлъ и слышалъ. Онъ говорилъ нелѣпо, несвязно, путаясь въ подробностяхъ, и я каждую минуту перебивалъ его нетерпѣливыми разспросами и восклицаніями, почти бранью. Изъ его рассказа я понялъ очень мало и только мѣсяца два спустя возстановилъ всю послѣдовательность этого проклятаго событія со словъ его очевидицы, жены

казеннаго лѣсничаго, которая въ тотъ день также была у обѣдни.

Мое предчувствіе не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла въ церковь; хотя она поспѣла только къ серединѣ службы и стала въ церковныхъ сѣняхъ, но ея приходъ былъ тотчасъ-же замѣченъ всѣми находившимися въ церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назадъ.

Однако Олеся нашла въ себѣ достаточно силы, чтобы достоять до конца обѣдню. Можетъ-быть, она не поняла настоящаго значенія этихъ враждебныхъ взглядовъ, можетъ-быть, изъ гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла изъ церкви, то у самой ограды ее со всѣмъ сторонъ обступила кучка бабъ, становившаяся съ каждой минутой все больше и больше и все тѣснѣе сдвигавшаяся вокругъ Олеси. Сначала онѣ только молча и безцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озирающуюся по сторонамъ дѣвушку. Потомъ посыпались грубыя насмѣшки, крѣпкія слова, ругательства, сопровождаемые хохотомъ, потомъ отдѣльныя восклицанія слились въ общій пронзительный бабій гвалтъ, въ которомъ ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивалъ нервы расходившейся толпы. Нѣсколько разъ Олеся пы-

талась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечій голосъ заоралъ откуда-то позади толпы: «Дегтемъ ее вымазать, стерву!» (Извѣстно, что въ Малороссіи мазанье дегтемъ даже воротъ того дома, гдѣ живетъ цѣвушка, сопряжено для нея съ величайшимъ, несмываемымъ позоромъ). Почти въ ту-же минуту надъ головами бѣснующихся бабъ появилась мазница съ дегтемъ и кистью, передаваемая изъ рукъ въ руки. —

Тогда Олеся, въ припадкѣ злобы, ужаса и отчаянія, бросилась на первую попавшуюся изъ своихъ мучительницъ такъ стремительно, что сбила ее съ ногъ. Тотчасъ-же на землѣ закипѣла свалка, и десятки тѣлъ смѣшались въ одну общую кричащую массу. Но Олесѣ прямо какимъ-то чудомъ удалось выскользнуть изъ этого клубка, и она опрометью побѣжала по дорогѣ — безъ платка, съ растерзанной въ лохмотья одеждой, изъ-подъ которой во многихъ мѣстахъ было видно голое тѣло. Вслѣдъ ей, вмѣстѣ съ бранью, хохотомъ и улюлюканьемъ, полетѣли камни. Однако погнались за ней только немногія, да и тѣ сейчасъ-же отстали... Отбѣжавъ шаговъ на пятьдесятъ, Олеся остановилась, повернула къ озвѣрѣвшей толпѣ свое блѣдное, исцарапанное, окровавленное

лицо и крикнула такъ громко, что каждое ея слово было слышно на площади:

— Хорошо-же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще всѣ наплачетесь досыта!

Эта угроза, какъ мнѣ потомъ передавала та-же очевидица событія, была произнесена съ такой страстной ненавистью, такимъ рѣшительнымъ, пророческимъ тономъ, что на мгновенье вся толпа какъ будто-бы оцѣпенѣла, но только на мгновенье, потому что тотчасъ-же раздался новый взрывъ брани.

Повторяю, что многія подробности этого происшествія я узналъ гораздо позднѣе. У меня не хватило силъ и терпѣнія дослушать до конца рассказъ Мищенки. Я вдругъ вспомнилъ, что Ярмола, навѣрно, не успѣлъ еще разсѣдлать лошадь и, не сказавъ изумленному конторщику ни слова, поспѣшно вышелъ на дворъ. Ярмола, дѣйствительно, еще водилъ Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздалъ лошадь, затянулъ подпруги и объѣздомъ, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакалъ въ лѣсъ.

XIII.

Невозможно описать того состоянія, въ которомъ я находился въ продолженіи моей бѣшеной скачки. Минутами я совсѣмъ забы-

валъ, куда и зачѣмъ ѣду; оставалось только смутное сознаніе, что совершилось что-то непоправимое, нелѣпое и ужасное, — сознаніе, похожее на тяжелую безпричинную тревогу, овладѣвающую иногда въ лихорадочномъ кошмарѣ человѣкомъ. И въ то-же время — какъ это странно! — у меня въ головѣ не переставалъ дрожать, въ тактъ съ лошадинымъ топотомъ, гнусавый, разбитый голосъ слѣпого лирника:

Ой вышло вѣйско турецкое,
Якъ та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведущей прямо къ хатѣ Мануйлихи, я слѣзъ съ Таранчика, на которомъ по краямъ потника и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ его кожа соприкасалась со сбруей, бѣлыми комьями выступила густая пѣна, и повелъ его въ поводу. Отъ сильнаго дневного жара и отъ быстрой ѣзды кровь шумѣла у меня въ головѣ, точно нагнетаемая какимъ-то огромнымъ, безостановочнымъ насосомъ.

Привязавъ лошадь къ плетню, я вошелъ въ хату. Сначала мнѣ показалось, что Олеси нѣтъ дома, и у меня даже въ груди и во рту похолодѣло отъ страха, но спустя минуту я ее увидѣлъ, лежащую на постели, лицомъ къ стѣнѣ, съ головой, спрятанной въ подушки.

Она даже не обернулась на шумъ отворяемой двери.

Мануйлиха, сидѣвшая тутъ-же, рядомъ, на землѣ, съ трудомъ поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — съ угрозой зашептала она, подходя ко мнѣ вплотную. И, взглянувъ мнѣ прямо въ глаза своими выцвѣтшими, холодными глазами, она прошипѣла злобно:

— Что? Доигрался, голубчикъ?

— Послушай, бабка, — возразилъ я сурово: — теперь не время считаться и выговаривать. Что съ Олесей?

— Тсс... тише! Безъ памяти лежитъ Олеся, вотъ что съ Олесей... Кабы ты не лѣзь, куда тебѣ не слѣдуетъ, да не болталъ-бы чепухи дѣвчонкѣ, ничего-бы худого не случилось. И я-то, дура пѣтая, смотрѣла, потворствовала... А вѣдь чуяло мое сердце бѣду... Чуяло оно недоброе съ того самого дня, когда ты чуть не силою къ намъ въ хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбилъ въ церковь потащиться? — вдругъ съ искривленнымъ отъ ненависти лицомъ накинута на меня старуха. — Не ты, барчукъ проклятый? Да не лги — и не верти лисьимъ хвостомъ-то, срамникъ! Зачѣмъ тебѣ понадобилось ее въ церковь манить?

— Не манилъ я ея, бабка... Даю тебѣ слово въ этомъ. Сама она захотѣла.

— Ахъ, ты горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибѣжала оттуда — лица на ней нѣтъ, вся рубаха въ шматки растерзана... Простоволосая... Рассказываетъ, какъ что было, а сама — то хохочетъ, то плачетъ... Ну, прямо, вотъ, какъ кликуша какая... Легла въ постель... все плакала, а потомъ, гляжу, какъ будто-бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась-было: вотъ, думаю, все сномъ пройдетъ, перекинется. Гляжу, рука у нея внизъ свѣсилась, думаю: надо поправить, затекетъ рука-то... Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся такъ жаромъ и пышетъ... Значить, огневица съ ней началась... Съ часъ безъ умолку говорила, быстро да жалостно такъ... Вотъ только-только замолчала на минуточку. Что ты надѣлалъ? Что ты надѣлалъ съ ней? — съ новымъ наплывомъ отчаянія воскликнула старуха.

И вдругъ ея коричневое лицо собралось въ чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по угламъ внизъ, всѣ личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщивъ лобъ глубокими складками, а изъ глазъ необычайно часто посыпались крупныя, какъ горошины, слезы. Обхвативъ руками голову

и положивъ локти на столъ, она принялась качаться взадъ и впередъ всѣмъ тѣломъ и завывала нараспѣвъ вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Охъ, г-о-о-орько мнѣ, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервалъ я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все съ той-же страшной гримасой на лицѣ продолжала качаться взадъ и впередъ, между тѣмъ какъ крупныя слезы падали на столъ... Такъ прошло минутъ съ десять. Я сидѣлъ рядомъ съ Мануйлихой и съ тоской слушалъ, какъ, однообразно и прерывисто жужжа, бьется объ оконное стекло муха.

— Бабушка! — раздался вдругъ слабый, чуть слышный голосъ Олеси. — Бабушка, кто у насъ?

Мануйлиха поспѣшно заковыляла къ кровати и тотчасъ-же опять завывала:

— Охъ, внучечка моя, ро-одная-а-а! Охъ, горько мнѣ ста-а-арой, тошно мнѣ-ѣ-ѣ-ѣ...

— Ахъ, бабушка, да перестань ты! — съ жалобной мольбой и страданіемъ въ голосъ сказала Олеся. — Кто у насъ въ хатѣ сидитъ?

Я осторожно, на цыпочкахъ, подошелъ къ кровати съ тѣмъ неловкимъ, виноватымъ

сознаніемъ своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказалъ я, понижая голосъ. — Я только-что пріѣхалъ верхомъ изъ деревни... А все утро я въ городѣ былъ... Тебѣ нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица отъ подушекъ, протянула назадъ обнаженную руку, точно ища чего-то въ воздухѣ. Я понялъ это движеніе и взялъ ея горячую руку въ свои руки. Два огромныхъ синихъ пятна — одно надъ кистью, а другое повыше локтя — рѣзко выдѣлялись на бѣлой, нѣжной кожѣ.

— Голубчикъ мой, — заговорила Олеся, медленно, съ трудомъ отдѣляя одно слово отъ другого. — Хочется мнѣ... на тебя посмотреть... да не могу я... Всю меня... изуродовали... Помнишь... тебѣ... мое лицо такъ нравилось?... Правда, вѣдь нравилось, родной?... И я такъ этому всегда радовалась... А теперь тебѣ противно будетъ... смотреть на меня... Ну, вотъ... я... и не хочу...

— Олеся, прости меня, — шепнулъ я, наклоняясь къ самому ея уху.

Ея пылающая рука крѣпко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Какъ тебѣ не стыдно и думать объ этомъ? Чѣмъ-же ты виноватъ здѣсь? Все я одна, глупая... Ну,

чего я полѣзла... въ самомъ дѣлѣ? Нѣтъ, солнышко, ты себя не виновать...

— Олеся, позволь мнѣ... Только обѣщай сначала, что позволишь...

— Обѣщаю, голубчикъ... все, что ты хочешь...

— Позволь мнѣ, пожалуйста, послать за докторомъ... Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять изъ того, что онъ прикажетъ. Но ты хоть для меня согласись, Олеся.

— Охъ, милый... Въ какую ты меня ловушку поймалъ! Нѣтъ, ужъ лучше ты позволь мнѣ своего обѣщанія не держать. Я, если-бы и въ самомъ дѣлѣ была больна, при смерти-бы лежала, такъ и то къ себѣ доктора не подпустила-бы. А теперь я развѣ больна? Это просто у меня отъ испугу такъ сдѣлалось, это пройдетъ къ вечеру. А нѣтъ — такъ бабушка мнѣ ландышевой настойки дастъ или малины въ чайникѣ заварить. Зачѣмъ же тутъ докторъ? Ты — мой докторъ самый лучший. Вотъ ты пришелъ, и мнѣ сразу легче сдѣлалось... Ахъ, одно мнѣ только нехорошо: хочу поглядѣть на тебя хоть однимъ глазкомъ, да боюсь...

Я съ нѣжнымъ усиліемъ отнялъ ея голову отъ подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочнымъ румянцемъ, темные глаза блестѣли

неестественно ярко, сухія губы нервно вздрагивали. Длинные красныя ссадины избороздили ея лобъ, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и подъ глазами.

— Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мнѣ глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приникъ губами къ Олесиной рукѣ, неподвижно лежавшей на одѣялѣ, и сталъ покрывать ее долгими, тихими поцѣлуями. Я и раньше цѣловалъ иногда ея руки, но она всегда отнимала ихъ у меня съ торопливымъ, застѣнчивымъ испугомъ. Теперь-же она не противилась этой ласкѣ и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосамъ.

— Ты все знаешь? — шопотомъ спросила она.

Я молча наклонилъ голову. Правда, я не все понялъ изъ разсказа Никиты Назарыча. Мнѣ не хотѣлось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая объ утреннемъ происшествіи. Но вдругъ при мысли объ оскорбленіи, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачѣмъ меня тамъ не было въ это время! — вскричалъ я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы...я бы...

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчикъ, — кротко прервала меня Олеся.

Я не могъ болѣе удерживать слезъ, давно давившихъ мнѣ горло и жегшихъ глаза. Припавъ лицомъ къ плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдалъ, сотрясаясь всѣмъ тѣломъ.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — Въ голосѣ ея зазвучали удивленіе, нѣжность и состраданіе. — Милый мой... Да перестань-же, перестань... Не мучь себя, голубчикъ... Вѣдь мнѣ такъ хорошо возлѣ тебя. Не будемъ-же плакать, пока мы вмѣстѣ. Давай хоть послѣдніе дни проведемъ весело, чтобы намъ не такъ тяжело было разставаться.

Я съ изумленіемъ поднялъ голову. Неясное предчувствіе вдругъ медленно сжало мое сердце.

— Послѣдніе дни, Олеся? Почему — послѣдніе? Зачѣмъ-же намъ разставаться?

Олеся закрыла глаза и нѣсколько секундъ молчала.

— Намъ надо проститься съ тобой, Ванечка, — заговорила она рѣшительно. — Вотъ какъ только чуть-чуть поправлюсь, сейчасъ-же мы съ бабушкой и уѣдемъ отсюда. Нельзя намъ здѣсь оставаться больше...

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нѣтъ, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачѣмъ-же людей

въ грѣхъ вводить? Ты, можетъ-быть, не знаешь... Вѣдь я тамъ... въ Перебродѣ... погрозила со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчасъ на насъ скажутъ: скотъ-ли начнетъ падать, или хата у кого загорится, — все мы будемъ виноваты. Бабушка, — обратилась она къ Мануйлихѣ, возвышая голосъ: — правду вѣдь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внучечка? Не слышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя къ уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая-бы бѣда въ Перебродѣ ни случилась, все на насъ съ тобой свалятся.

— Охъ, правда, правда, Олесья, — все на насъ, горемычныхъ, свалятся... Не жить намъ на бѣломъ свѣтѣ, изведутъ насъ съ тобой, совсѣмъ изведутъ, проклятики... А тогда, какъ меня изъ села выгнали... Что-жъ?.. Развѣ не такъ-же было? Погрозила я... тоже, вотъ, съ досады...одной дурищѣ полосатой, а у нея — хватъ — ребенокъ померъ. То-есть ни сномъ, ни духомъ тутъ моей вины не было, а вѣдь меня чуть не убили, окаянные... Камнями стали шибать... Я бѣгу отъ нихъ, да только тебя, малолѣтку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть ужъ мнѣ попадетъ, а за что-же

дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висѣльники поганые!

— Да куда-же вы поѣдете? У васъ вѣдь нигдѣ ни родныхъ, ни знакомыхъ нѣтъ... Наконецъ и деньги нужны, чтобы на новомъ мѣстѣ устроиться.

— Обойдемся какъ-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну ужъ и деньги тоже! — съ неудовольствіемъ возразила старуха, отходя отъ кровати. — Копеечки сиротскія, слезами облитыя...

— Олеся... А я какъ-же? Обо мнѣ ты и думать даже не хочешь! — воскликнулъ я, чувствуя, какъ во мнѣ подымается горькій, больной, недобрый упрекъ противъ Олеси.

Она привстала и, не стѣсняясь присутствіемъ бабки, взяла руками мою голову и нѣсколько разъ подъ рядъ поцѣловала меня въ лобъ и щеки.

— Объ тебѣ я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь-ли... не судьба намъ вмѣстѣ быть... вотъ что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Вѣдь все такъ и вышло, какъ онѣ сказали тогда. Значить, не хочетъ судьба нашего съ тобой счастья... А если бы не это, развѣ, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась-бы?

— Олеса, опять ты про свою судьбу? — воскликнулъ я нетерпѣливо. — Не хочу я въ нее вѣрить... и не буду никогда вѣрить!..

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ... не говори этого, — испуганно зашептала Олеса. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчикъ.

— Нѣтъ, лучше ты ужъ объ этомъ и разговора не начинай совсѣмъ.

Напрасно я старался разубѣдить Олесю, напрасно рисовалъ передъ ней картины безмятежнаго счастья, которому не помѣшаютъ ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеса только цѣловала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ... я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего намъ, кромѣ горя, не будетъ... ничего...ничего...

Растерянный, сбитый съ толку этимъ суевѣрнымъ упорствомъ, я наконецъ спросилъ:

— Но вѣдь во всякомъ случаѣ ты дашь мнѣ знать о днѣ отъѣзда?

Олеса задумалась. Вдругъ слабая улыбка пробѣжала по ея губамъ.

— Я тебѣ на это скажу маленькую сказочку... Однажды волкъ бѣжалъ по лѣсу, увидѣлъ зайчика и говорить ему: «Заяцъ, а заяцъ, вѣдь я тебя съѣмъ!» Заяцъ сталъ проситься: «Помилуй меня, волкъ, мнѣ еще жить хо-

чется, у меня дома дѣтки маленькія». Волкъ не соглашается. Тогда заяцъ говоритъ: «Ну дай мнѣ хоть три дня еще на свѣтѣ пожить, а потомъ и съѣшь. Все-же мнѣ легче умирать будетъ». Далъ ему волкъ эти три дня, не ѣстъ его, а только все стережетъ. Прошелъ одинъ день, прошелъ другой, наконецъ и третій кончается. — «Ну, теперь готовься, — говоритъ волкъ: — сейчасъ я начну тебя ѣсть». Тутъ мой заяцъ и заплакалъ горючими слезами. «Ахъ, зачѣмъ ты мнѣ, волкъ, эти три дня подарилъ! Лучше-бы ты сразу меня съѣлъ, какъ только увидѣлъ. А то я всѣ три дня не жилъ, а только терзался!» Милый мой, вѣдь зайчикъ-то этотъ правду сказалъ. Какъ ты думаешь?

Я молчалъ, охваченный тоскливымъ предчувствіемъ близкаго одиночества. Олеся вдругъ поднялась и присѣла на постели. Лицо ея стало сразу серьезнымъ.

— Ваня, послушай... — произнесла она съ разстановкой. — Скажи мнѣ: покамѣстъ ты былъ со мной, былъ-ли ты счастливъ? Хорошо-ли тебѣ было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди... Жалѣлъ-ли ты, что узналъ меня? Думалъ ли ты о другой женщинѣ, когда видѣлся со мною?

— Ни одного мгновенія! Не только въ тво-

емъ присутствіи, но, даже и оставшись одинъ, я ни о комъ, кромѣ тебя, не думалъ.

— Ревновалъ-ли ты меня? Былъ-ли ты когда-нибудь на меня недоволенъ? Не скупалъ-ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обѣ руки мнѣ на плечи и съ невыразимой любовью поглядѣла въ мои глаза.

— Такъ и знай-же, мой дорогой, что никогда ты обо мнѣ не вспомнишь дурно или со зломъ, — сказала она такъ убѣдительно, точно читала у меня въ глазахъ будущее. — Какъ разстанемся мы съ тобой, тяжело тебѣ въ первое время будетъ, охъ, какъ тяжело... Плакать будешь, мѣста себѣ не найдешь нигдѣ. А потомъ все пройдетъ, все изгладится. И ужъ безъ горя ты будешь обо мнѣ думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабѣвшимъ голосомъ:

— А теперь поѣзжай, мой дорогой... Поѣзжай домой, голубчикъ... Устала я немножко. Подожди... поцѣлуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволить. Позволишь вѣдь, бабушка?

— Да ужъ простись, простись, какъ слѣдуетъ — недовольно проворчала старуха.

— Чего-же передо мной таиться-то?.. Давно знаю...

— Поцѣлуй меня сюда, и сюда еще... и сюда, — говорила Олеся, притрогиваясь пальцемъ къ своимъ глазамъ, щекамъ и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною такъ, какъ будто-бы мы уже не увидимся больше! — воскликнулъ я съ испугомъ.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поѣзжай съ Богомъ. Нѣтъ, постой... еще минуточку... Наклони ко мнѣ ухо... Знаешь, о чемъ я жалѣю? — зашептала она, прикасаясь губами къ моей щекѣ. — О томъ, что у меня нѣтъ отъ тебя ребеночка. Ахъ, какъ я была-бы рада этому!

Я вышелъ на крыльцо въ сопровожденіи Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча съ рѣзкими курчавыми краями, но солнце еще свѣтило, склоняясь къ западу, и въ этомъ смѣшеніи свѣта и надвигающейся тьмы было что-то зловѣщее. Старуха посмотрѣла вверхъ, прикрывъ глаза, какъ зонтикомъ, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня надъ Перебродомъ грозы, — сказала она убѣдительнымъ тономъ. — А чего добраго, даже и съ градомъ.

XIV.

Я подъѣзжалъ уже къ Переброду, когда внезапный вихрь закрутилъ и погналъ по дорогѣ столбы пыли. Упали первая — рѣдкія и тяжелыя — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этотъ жаркій, нестерпимо-душный день, разразилась съ необыкновенной силой надъ Перебродомъ. Молнія блистала почти непрерывно, и отъ раскатовъ грома дрожали и звенѣли стекла въ окнахъ моей комнаты. Часовъ около восьми вечера гроза утихла на нѣсколько минутъ, но только для того, чтобы потомъ начаться съ новымъ ожесточеніемъ. Вдругъ что-то съ оглушительнымъ трескомъ посыпалось на крышу и на стѣны стараго дома. Я бросился къ окну. Огромный градъ, съ грецкій орѣхъ величиной, стремительно падалъ на землю, высоко подпрыгивая потомъ кверху. Я взглянулъ на тутовое дерево, росшее около самага дома, оно стояло совершенно голое: всѣ листья были сбиты съ него страшными ударами града... Подъ окномъ показалась еле замѣтная въ темнотѣ фигура Ярмолы, который, накрывшись съ головой свиткой, выѣзжалъ изъ кухни, чтобы притворить ставни. Но онъ опоздалъ.

Въ одно изъ стеколъ вдругъ съ такой силой ударилъ громадный кусокъ льду, что оно разбилось, и осколки его со звономъ разлетѣлись по полу комнаты.

Я почувствовалъ себя утомленнымъ и прилежъ, не раздѣваясь, на кровать. Я думалъ, что мнѣ вовсе не удастся заснуть въ эту ночь, и что я до утра буду въ безсильной тоскѣ ворочаться съ боку на бокъ, поэтому я рѣшилъ лучше не снимать платья, чтобы потомъ хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнатѣ. Но со мной случилась очень странная вещь: мнѣ показалось, что я только на минуту закрылъ глаза; когда-же я раскрылъ ихъ, то сквозь щели ставень уже тянулись длинные яркіе лучи солнца, въ которыхъ кружились безчисленные золотыя пылинки.

Надъ моей кроватью стоялъ Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпѣливое ожиданіе: должно-быть, онъ уже давно дожидался здѣсь моего пробужденія.

— Панычъ, — сказалъ онъ своимъ глухимъ голосомъ, въ которомъ слышалось безпокойство. — Панычъ, треба вамъ отсюда уѣзжать...

Я свѣсилъ ноги съ кровати и съ изумленіемъ поглядѣлъ на Ярмолу.

— Уѣзжать? Куда уѣзжать? Зачѣмъ? Ты, вѣрно, съ ума сошелъ?

— Ничего я съ ума не сходилъ, — огрызнулся Ярмола. Вы не чули, что вчерашній градъ наробилъ? У половины села жито какъ ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуковъ, у Гордія Олефира... Наслала-таки шкоду вѣдьмака чортова... чтобъ ей сгинуть!

Мнѣ вдругъ, въ одно мгновеніе, вспомнился весь вчерашній день, угроза, произнесенная около церкви Олесея, и ея опасенія.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжалъ Ярмола. — Съ утра всѣ опять перепились и орутъ... И про васъ, паньчу, кричатъ недоброе... А вы знаете, яка у насъ громада?... Если они вѣдьмакамъ шо зробяць, то такъ и треба, то справедливое дѣло, а вамъ, паньчу, я скажу одно — утекайте скорѣйше.

Итакъ, опасенія Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихѣ бѣдѣ. Я торопливо одѣлся, на ходу сполоснулъ водою лицо и черезъ полчаса уже ѣхалъ крупной рысью по направленію Бисова Кута.

Чѣмъ ближе подвигался я къ избушкѣ на курьихъ ножкахъ, тѣмъ сильнѣе возрастало во мнѣ неопредѣленное, тоскливое безпокойство. Я съ увѣренностью говорилъ само-

му себѣ, что сейчасъ меня постигнетъ какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бѣгомъ пробѣжалъ я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что-же такое случилось? — прошептала я, входя съ замираніемъ сердца въ сѣни.

Хата была пуста. Въ ней господствовалъ тотъ печальный, грязный безпорядокъ, который всегда остается послѣ поспѣшнаго выѣзда. Кучи сора и тряпокъ лежали на полу, да въ углу стоялъ деревянный остовъ кровати...

Съ стѣсненнымъ, переполненнымъ слезами сердцемъ я хотѣлъ уже выйти изъ хаты, какъ вдругъ мое вниманіе привлекъ яркій предметъ, очевидно, нарочно повѣшенный на уголъ оконной рамы. Это была нитка дешевыхъ красныхъ бусъ, извѣстныхъ въ Полѣсьѣ подъ названіемъ «коралловъ», — единственная вещь, которая осталась мнѣ на память объ Олесѣ и объ ея нѣжной, великодушной любви.

ТРУСЪ.

I.

Шабашъ только-что окончился, но въ винномъ погребѣ Айзика Рубинштейна было уже такъ тѣсно, что запоздалые посѣтителы не находили, гдѣ присѣсть, и пили, стоя около чужихъ столиковъ. Сквозь туманъ испареній, выдыхаемый толпою, сквозь синія слоистыя облака табачнаго дыма, огни висячихъ лампъ казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменныхъ ноздреватыхъ, сводахъ погреба блестя каплями сырость. Двое прислужниковъ, въ черныхъ передникахъ и кожаныхъ нарукавникахъ, едва успѣвали разносить по столамъ мутное бессарабское вино, которое самъ Рубинштейнъ, стоя за прилавкомъ, цѣдилъ изъ двухъ большихъ бочекъ въ графины. Это вино пріятно было пить, особенно послѣ остраго козьего сыра, подававшася къ каждому графину, но, выпитое въ большомъ количествѣ, оно кидалось въ голову, дѣлало человека крикливымъ и вспыльчивымъ и толкало къ ссорамъ. Посѣтителы говорили между собою, что Айзикъ настаиваетъ это вино на табакѣ, пополамъ съ бѣленою, но все-таки про-

должали ходить въ его погребъ, который былъ биржей и клубомъ для еврейскаго населенія, маленькаго пограничнаго городишки.

Жаргонный говоръ, то стремительный и раскатистый въ серединѣ фразъ, то завывающій на окончаніяхъ, несся отовсюду, сопровождаемый яркой мимикой и оживленными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что въ погребъ разгорѣлась общая ссора, и что всѣ посѣтителы говорятъ одновременно, не слушая и стараясь перекрычать другъ друга. Но этотъ гвалтъ былъ въ заведеніи Айзика самымъ обычнымъ явленіемъ.

Кто-то застучалъ ладонью по столу, какъ это часто дѣлають въ синагогѣ, чтобы прекратить шумъ.

— Ша! — выкрикнулъ рѣзко и требовательно чей-то голосъ.

И десятки рукъ также застучали по столамъ, и со всѣхъ сторонъ нетерпѣливые голоса подхватили это восклицаніе:

— Ша!...

На середину погреба вышло двое бродячихъ актеровъ. Одинъ изъ нихъ былъ небрежно и грубо загримированъ старикомъ: куски ваты, приклеенные подъ носомъ, изображали усы, такіе-же бѣлые комки спускались отъ щекъ и подбородка длинными закрученными

висюльками. И все-таки, несмотря на свое убожество, этот наивный гримъ придавалъ головѣ актера странное и трогательное сходство съ лицами ветхозавѣтныхъ пророковъ. Длинный лапсердакъ старика, умышленно разорванный и заплатаанный во многихъ мѣстахъ, былъ въ талии обмотанъ краснымъ кушакомъ. Другой актеръ, рослый мужчина съ короткой бородой и равнодушно-наглыми, влажными, большими глазами, былъ безъ грима и держался нѣсколько позади старика.

— Ша!.. Тихо!.. — крикнулъ изъ-за прилавка Айзикъ Рубинштейнъ и звонко шлепнулъ ладонью по бочкѣ.

Шумъ сразу упалъ, перейдя въ густое, протяжное гудѣнье.

— Это Цирельманъ!.. Старый Гершъ Цирельманъ, — передавали отъ стола къ столу. — Цирельманъ будетъ давать представленіе.

Черныя, курчавыя головы, въ картузахъ и ушастыхъ мѣховыхъ шапкахъ, повернулись назадъ, туловища жадно вытянулись, черные, пламенные глаза съ напряженнымъ ожиданіемъ впились въ актеровъ.

Цирельманъ поднялъ кверху руки, отчего рукава лапсердака сползли внизъ и обнажили худыя, костлявыя, красныя кисти, закинулъ назадъ голову и возвелъ глаза къ закопченному потолку. Изъ груди его вылетѣлъ сиплый,

но высокій и дрожащій звукъ, который долго и жалобно вибрировалъ подъ низкими сводами, и когда онъ, постепенно слабѣя, замеръ, то слышно было, какъ въ погребѣ быстро затихали, подобно убѣгающей волнѣ, послѣдніе разговоры. И тотчасъ-же въ сыромъ, тяжеломъ воздухѣ наступила чуткая тишина.

Старикъ медленно и громко вздохнулъ, уронилъ голову набокъ и безпомощно, съ усталымъ видомъ, бросилъ руки вдоль тѣла. Постоявъ такъ нѣсколько секундъ и точно собравшись съ силами, онъ горестно замоталъ головой, и запѣлъ тихимъ, стонущимъ речитативомъ, съ долгими паузами, во время которыхъ было слышно, какъ шипѣлъ керосинъ въ лампахъ:

— Благословенъ Богъ нашъ, Богъ сильный, приведшій меня къ порогу этого дома... О, какъ труденъ былъ мой путь! Какіе знойные дни, какія страшныя ночи!.. Острые камни ранили мои ноги, колючіе шипы рвали мои одежды... Но вотъ наконецъ эта мирная кровля, подъ которой живетъ мой сынъ, мой возлюбленный, прекрасный первенецъ Абрамъ. его сердце нѣжнѣе, чѣмъ цвѣтокъ яблони... Онъ омоетъ горящія ноги стараго отца, онъ одѣнетъ его въ лучшія одежды... Вотъ я стучу въ твои двери, сынъ мой. Слышитъ-ли твоя душа, кто

стоитъ у порога? Спѣши-же, отвори скорѣе, любимѣйшій изъ моихъ сыновъ!

Стоявшій сзади чернобородый мужчина засунулъ руки въ карманы панталонъ и, безучастно закрывши глаза, пропѣлъ заученныя слова:

— Кто тамъ стучить у воротъ? Ночь холодна, я лежу въ постели и не выйду наружу.

— О, сынъ мой, развѣ твоя душа не дрожитъ и не рвется мнѣ навстрѣчу? Это я, — тотъ, кто далъ тебѣ жизнь и свѣтъ. Это я, твой несчастный, больной, старый отецъ. Отвори-же, отвори скорѣе: на улицахъ голодные псы воютъ на луну, а мои слабыя ноги подкашиваются отъ усталости...

Онъ замолчалъ, тихо и скорбно покачивая головой. Послѣ первыхъ-же фразъ слушатели привыкли къ глухому и сиплому тембру его голоса и теперь глядѣли на Цирельмана, не отрываясь, захваченные словами старой національной мелодрамы. Убогая обстановка не мѣшала этимъ страстнымъ подвижнымъ натурамъ, жаднымъ до всякихъ театральныхъ зрѣлищъ, видѣть въ своемъ пылкомъ восточномъ воображеніи: и пустынную улицу, озаренную луной, и бѣлый домикъ съ каменной оградой, и рѣзкія, черныя тѣни деревьевъ на землѣ и на стѣнахъ.

Сынъ наконецъ узналъ отца и отворилъ

двери своего жилища. Ветхозавѣтный пророкъ весь дрожалъ отъ волненія, и вмѣстѣ съ нимъ тряслись и прыгали бѣлыя, закрученныя космы его бороды.

— О, мое сокровище!.. Тотъ часъ, когда я впервые увидѣлъ тебя слабымъ и безпомощнымъ на рукахъ твоей матери, не былъ для меня такъ сладокъ, какъ этотъ, когда я снова прижимаю твою прекрасную голову къ своей груди, — говорилъ Цирельманъ нараспѣвъ, рыдающимъ голосомъ.

Но чернобородый мужчина оставался непоколебимымъ. Онъ не вынималъ рукъ изъ кармановъ и, пропѣвъ безъ всякаго выраженія свою реплику, отворачивался въ сторону, сплевывалъ и со скучающимъ видомъ обводилъ зрителей наглыми, воловьими глазами. Впрочемъ, и по пьесѣ, представлявшей собою нѣчто въ родѣ еврейскаго «Короля Лира», слѣдовало, что сынъ вовсе уже не такъ былъ радъ свиданію съ отцомъ. Домъ его переполненъ уважаемыми, богатыми гостями, сонъ которыхъ нельзя тревожить ради пришельца. Кромѣ того, Абрамъ недавно женился на красивой, знатной, изнѣженной женщинѣ: ее, навѣрно, стѣснить неожиданное посѣщеніе оборваннаго, больного старика. Пусть отецъ уходитъ назадъ, въ свой родной городъ. Тамъ

чего знаютъ, тамъ его должна поддержать община.

Между отцомъ и сыномъ происходитъ драматическое объясненіе. Сынъ — человѣкъ новаго поколѣнія, онъ беззаботно относится къ строгой вѣрѣ предковъ, не исполняетъ священныхъ обрядовъ старины, въ его черствой коммерческой душѣ нѣтъ уже мѣста для нѣжныхъ и благодарныхъ сыновнихъ чувствъ. Онъ съ утра и до вечера трудится, промышляя кусокъ хлѣба для себя и для семьи, и не можетъ дѣлиться съ лишнимъ человѣкомъ. Нѣтъ! Пускай отецъ возвращается назадъ, въ свой родной городъ: здѣсь для него не найдется угла!..

Обо всемъ этомъ второй актеръ сообщалъ съ полнымъ равнодушіемъ, медленно покачивая туловище налѣво и направо. Но Цирельманъ уже не нуждался въ его поддержкѣ. Съ каждой фразой его голосъ крѣпнулъ, и въ немъ все сильнѣе, какъ рокоть металлическихъ струнъ, трепетала древняя, многовѣковая библейская скорбь, которая, точно плачь по утерянномъ Іерусалимѣ, рыдаетъ съ такой неутолимой и горестной силой во всѣхъ еврейскихъ молитвахъ и пѣсняхъ.

— О, горе, горе мнѣ! — стоналъ Цирельманъ, и его протянутыя впередъ руки тряслись и длинная бѣлая борода вздрагивала. —

Плюнь въ мои сѣдые волосы, брось грязью въ мое старое лицо!.. Зачѣмъ я родилъ тебя!.. Кто на свѣтѣ испыталъ горе, равное моему?..

Глаза его широко раскрылись и выкатились наружу изъ орбитъ, а бѣлки ихъ налились кровью и слезами, поблѣднѣвшія губы искривились, голосъ то опускался до хриплага, трагическаго шопота, то переходилъ въ срывающіеся вопли, похожіе и на завыванье и на кашель. Конечно, эта декламація была преувеличена и, пожалуй, даже нелѣпа, но зрители были такъ увлечены и очарованы драматической сценой, что незамѣтно для самихъ себя повторяли всѣ изступленныя движенія Цирельмана. Они сжимали кулаки, когда актеръ билъ себя въ грудь, и нервно потряхивали головами, когда онъ въ отчаяніи размахивалъ своей ватной бородой. Ихъ одинаково волновали: и страстная игра Цирельмана, и трогательность стараго, давно знакомаго сюжета, и отголоски священнаго плача, звучавшаго въ речитативахъ.

Старикъ понялъ наконецъ, что, найдя сына, онъ въ то-же время потерялъ его.

— Я уйду навсегда изъ твоего дома! — выкрикивалъ Цирельманъ, задыхаясь, и его тонкіе, длинные пальцы судорожно рвали воротъ лапсердака. — Я уйду и не призову на твою голову отцовскаго проклятія, кото-

рому внимаетъ самъ Іегова; но знай, что мною уходитъ твое счастье и твой спокойный сонъ. Прощай, Абрамъ, но запомни навсегда мои послѣднія слова: въ тотъ день, когда твой сынъ прогонитъ тебя отъ порога, ты вспомнишь о своемъ отцѣ и заплачешь о немъ...

Цирельманъ давно уже кончилъ, но зрители все такъ-же молча, неподвижно и напряженно, затаивъ дыханіе и полуоткрывъ рты глядѣли на него. И такъ велико было очарованіе этихъ бѣдныхъ, простыхъ и горячихъ сердець, что они съ трудомъ опомнились только тогда, когда Цирельманъ, спокойно и заботливо снявъ усы и бороду, спряталъ ихъ въ карманъ и медленно сталъ стаскивать съ плечъ заплатанный лапсердакъ. Говоръ, смѣхъ, восклицанія и стукъ сразу хлынули со всѣхъ сторонъ и наполнили погребъ. Въ эту минуту каждый зритель позабылъ о томъ, что Гершъ Цирельманъ — пустой, ни къ чему неспособный человѣкъ, представитель презираемой профессіи, старый пьяница, котораго изъ-за его порока не держали ни въ одной труппѣ. Въ черныхъ глазахъ, устремленныхъ на него отовсюду, блестѣлъ искренній, еще не успѣвшій простыть, признательный восторгъ.

Безъ костюма и грима Цирельманъ оказался невысокимъ, коренастымъ человѣкомъ, съ бритымъ, старымъ и желтымъ, точно изжеван-

нымъ актерскимъ лицомъ и курчавыми волосами, на которыхъ сѣдина лежала сверху, какъ будто они были припудрены. Глаза подъ взъерошенными, неровными бровями были почти безъ рѣсницъ и носили суровый, безпокойный и печальный оттѣнокъ, присущій взгляду привычныхъ пьяницъ.

Айзикъ Рубинштейнъ, хозяинъ погреба, толстый, веселый и чувствительный плутъ, былъ растроганъ больше другихъ. Со смѣющимися, но еще мокрыми отъ слезъ глазами онъ похлопалъ Цирельмана по плечу и сказалъ:

— Очень хорошо, прекрасно исполнено! Вы, Гершъ, имѣете получить съ меня двадцать грошей за представленіе. Но я знаю, что вамъ будетъ пріятнѣе имѣть полкварти бѣлаго вина, которое вы всегда требуете. Считайте его за мною!

Съ тарелкой въ рукахъ Цирельманъ обошелъ всѣ столики, и каждый зритель бросалъ ему копейку или двѣ, добровольно оплачивая только-что пережитыя сильныя ощущенія. Тѣ, у кого не было мелочи, клали дешевыя папирсы. Даже извѣстный своей скупостью Мееръ Ковалевъ, богатый шмуклеръ*), положилъ на тарелку пятакъ.

— Видите, Гершъ, я ложу вамъ десять

*) Шнуровой мастеръ.

грошей, — сказалъ онъ торжественно: — и беру сдачи... одна... три... четыре... Смотрите, я беру назадъ восемь грошей... А одну копейку вы можете оставить себѣ. Вы отличный актеръ, Цирельманъ!

Всѣ дружелюбно улыбались Гершу, обнимали его за спину и трепали по плечамъ; многіе звали его присѣсть къ своимъ столикамъ. Глаза Герша были еще красны, а на вискахъ и на концѣ носа стояли мелкія и круглыя, какъ бисеръ, капли пота; но нахмуренное лицо его хранило отчужденное и высокомерное выраженіе, свойственное настоящему художнику, только-что пережившему сладкую и тяжелую минуто вдохновенія.

II.

Отсчитавъ своему помощнику (который въ обыкновенное время состоялъ подмастерьемъ рѣзника) четвертую часть сбора, Цирельманъ сѣлъ въ углу, около входа, за освободившійся столикъ и спросилъ вина. Первый стаканъ онъ выпилъ съ зажмуренными глазами, не отнимая рта, и такими жадными, большими глотками, что у него даже сдѣлалось больно внутри горла. Потомъ онъ налилъ второй стаканъ, но отставилъ его отъ себя и, сгорбившись на

стулъ и положивъ ногу на ногу, закурилъ папиросу.

Цирельманъ ждалъ. Вытирая вспотѣвшее лицо краснымъ дырявымъ платкомъ, онъ часто оглядывался на дверь, которая то и дѣло хлопала на блокъ и дребезжала своими стеклами, впуская, вмѣстѣ съ новыми гостями, стремительные клубы бѣлаго морознаго пара. Просто-сердечные зрители, только-что наивно волновавшіеся вмѣстѣ съ Цирельманомъ, теперь совсѣмъ забыли о немъ, и онъ сидѣлъ раскисшій, усталый, охваченный знакомой ему тоскливой и разсѣянной пустотой, которая въ былые дни наполняла его душу, когда онъ оставался одинъ послѣ спектаклей. Онъ глядѣлъ мутными, неподвижными глазами на блестящій край стакана, между тѣмъ какъ углы его набрякшихъ вѣкъ опустились, а отъ концовъ большихъ изогнутыхъ губъ легли внизъ двѣ брезгливыя складки.

Шумъ въ погребѣ росъ. Уже не было слышно отдѣльныхъ голосовъ, а, казалось, гудѣло все: и стѣны, и столы, и люди, и синій отъ табачнаго дыма воздухъ. Этотъ однообразно-пестрый гулъ, то падавшій, то опять плавно подымавшійся, былъ похожъ на движеніе большихъ, качающихся волнъ. Иногда-же неясные и разбросанные звуки вдругъ стекались вмѣстѣ, въ одну согласную музыкальную.

рѣку и размѣренно плыли подъ потолокомъ, какъ внезапный отрывокъ невѣдомой и сложной мелодіи. И сухое щелканье костяжекъ домино сопровождало ихъ, точно трескъ кас-таньетъ.

Вдругъ Цирельманъ оживился и нервно задвигался на стулѣ. Въ подвалъ спускался, бережно и грузно ставя на ступеньки толстыя кривыя ноги, мѣстный балагула*) Мойше Файбишъ. Небольшого роста, но широкій, тяжеловѣсный и могучій, онъ былъ похожъ на старый дубовый пенъ и весь казался налитымъ густой апоплексической кровью: лицо у него было страшнаго синяго цвѣта, бѣлки маленькихъ глазъ — кровавые, а на лбу, на вискахъ и особенно на концѣ мясистаго носа раздувшіяся вены вились синими упругими змѣйками. Короткая, жесткая, спутанная борода начиналась у него изъ-подъ самыхъ глазъ, а на концахъ, вокругъ всего лица, была такая сѣдая и пышная, какъ будто Файбишъ только-что опустилъ ее въ мыльную пѣну.

Файбишъ издали увидѣлъ Цирельмана и сдѣлалъ ему бровями быстрый предостерегающій знакъ. Балагула бокомъ, съ неловкой и смѣшной осторожностью очень сильнаго

*) Балагула — экипажъ для дальнихъ переѣздовъ. Балагулой также называютъ и хозяина такого экипажа, или ямщика.

человѣка, пробирался между столѣиками, задѣвая за стулья, улыбаясь и тыкая небрежно налѣво и направо для пожатія свою руку. Файбишъ пользовался въ мѣстечкѣ, несмотря на свой не особенно высокій бадагульный промыселъ, значительнымъ и довольно вѣскимъ почетомъ. Онъ былъ извѣстенъ — хотя этого и не говорили открыто — за смѣлаго, предприимчиваго контрабандиста. Передавали шопотомъ, что много лѣтъ тому назадъ, спасаясь отъ преслѣдованія конныхъ пограничныхъ стражниковъ, онъ застрѣлил солдата, и хотя потомъ судился по подозрѣнiю въ убійствѣ, но былъ отпущенъ на свободу, за неимѣнiемъ настоящихъ уликъ. Кромѣ того, Файбишъ былъ знаменитъ — и даже далеко за предѣлами уѣзда — своей необычайной физической силой, принимавшей въ пылкихъ умахъ мѣстной молодежи преувеличенные библейскіе размѣры. Провозгласители тостовъ на свадьбахъ неизмѣнно сравнивали его съ сокрушителемъ зданій — Самсономъ.

— Добрый вечеръ, Гершъ! — сказалъ Файбишъ, подходя къ столѣику Цирельмана и протягивая актеру маленькую, негнущуюся, холодную и мозолистую руку.

— Добрый вечеръ, — отвѣтилъ Цирельманъ. Онъ почтительно привскакнулъ на стулъ и даже шаркнулъ подъ столомъ ногами. —

Садитесь, будьте любезны, — я спрошу еще вина. Какъ шабашевали? Этотъ графинчикъ не въ счетъ; его мнѣ зафундовалъ Рубинштейнъ за представленіе; но я велю принести другой, — хорошо?

— Очень вамъ благодаренъ. Такъ вы давали представленіе?

— Ну, а почему-же нѣтъ, господинъ Файбишъ?

— Жаль, жаль, что я не успѣлъ. И что-же, порядочно собрали?

— Псс!.. поскудство... Но все-таки дали немного торговать... тридцать четыре копейки... За ваше здоровье, господинъ Файбишъ!..

— За ваше!..

Файбишъ выпилъ стаканъ вина, но тотчасъ же закашлялся, потому что давно уже страдалъ одышкой. Во время кашля вся кровь, переполнявшая его массивное тѣло, кинулась ему въ голову; лицо его еще больше посинѣло, шея распухла, а жилы на лбу и на носу вздулись, какъ у удушенника. Откашлявшись, онъ долго, съ хрипѣніемъ и со свистомъ въ горлѣ, отдувался, потомъ обсосалъ намокшіе въ винѣ усы, вытеръ ихъ ребромъ ладони въ одну и другую сторону и наконецъ отрывисто спросилъ:

— Ну, что-же? Не раздумали?

Цирельманъ вдругъ со страшной ясностью

почувствовалъ, что наступилъ моментъ, когда онъ вотъ-вотъ долженъ перешагнуть за какую-то невидимую нить, послѣ которой начнется совсѣмъ иная, темная и жуткая жизнь. Онъ поблѣднѣлъ, наклонился близко къ Файбишу и беззвучно зашевелилъ похолодѣвшими губами.

— Что за чортъ! Ничего не слышу. Говорите-же громче! — захрипѣлъ Файбишъ и нетерпѣливо ударилъ кулакомъ по столу.

— Я ничего... я, какъ вы, господинъ Файбишъ... Что-же... Я отъ своихъ словъ не откажусь...

Говоря эти растерянные слова, Цирельманъ поглядѣлъ на маленькую волосатую руку, которая лежала ладонью внизъ на столѣ, и неожиданно для себя со страхомъ подумалъ, что этой самой рукой Файбишъ убилъ пограничнаго солдата. И, съ чувствомъ раздражающей, обморочной слабости въ груди и въ животѣ, онъ залепеталъ едва слышно:

— Я... я... я не боюсь... Вы меня еще не знаете, господинъ Файбишъ!

— Положимъ, это вы врете, что не боитесь, — презрительно усмѣхнулся въ свою опѣненную бороду Файбишъ. — Всѣ вы — трусы и сволочь. Вотъ, двадцать лѣтъ тому назадъ, а можетъ быть, и больше, — тогда я былъ еще молодымъ и сильнымъ человѣкомъ,

— тогда былъ у меня товарищъ, Іосель Бакаляръ... — Файбищъ вздохнулъ и налилъ себѣ вина. — Это былъ человѣкъ! О! мы съ нимъ много сдѣлали хорошихъ гешефтовъ... Но бросимъ это! Да. Такъ, если вы согласны, приготовляйтесь! Сегодня ночью...

— Сегодня ночью... — повторилъ за нимъ однозвучно и безсмысленно Цирельманъ.

— Ну да, сегодня. Я заѣду за вами. Но, если вамъ страшно, скажите сейчасъ! Потомъ будетъ поздно. Понимаете?

— Я не боюсь, Файбищъ, я не боюсь! — повторилъ умоляющимъ шопотомъ Цирельманъ, крѣпко прижимая руки къ груди.

Онъ уже перешагнулъ загадочную грань и теперь вступалъ — одинокій, беспомощный и слабый — въ таинственный міръ, полный ночныхъ ужасовъ, крови и опасностей. И въ этомъ чудовищномъ мірѣ была только одна власть, — власть сидѣвшаго съ нимъ рядомъ страннаго, непонятнаго, ничего не боящагося человѣка.

Невольно онъ оглянулся вокругъ себя. На нихъ обоихъ были со всѣхъ сторонъ устремлены живые, черные глаза, горѣвшіе напряженнымъ любопытствомъ. Но, встрѣчаясь съ испуганнымъ, помертвѣвшимъ взглядомъ Цирельмана, любопытные глаза бѣгло отворачивались и опускались, отчасти отъ страха

передъ Файбишемъ, отчасти изъ дѣловой скромности. Это ободрило Цирельмана, и онъ выпрямилъ свою согнутую спину. Всѣ эти изворотливые, проницательные люди, безъ сомнѣнія, знали, о чемъ онъ разговаривалъ, нагнувшись голова къ головѣ, съ Файбишемъ. И мысль, что на него, всегда нѣсколько презираемаго, наконецъ-то глядятъ съ любопытствомъ, ожиданіемъ и боязливымъ почтеніемъ, что ужасная слава Файбиша окутываетъ и его, Цирельмана, необычайнымъ, героическимъ свѣтомъ, — эта мысль пріятно и льстиво ударила ему въ голову и изгнала оттуда послѣднія колебанія трусости. И онъ въ первый разъ взглянулъ прямо и твердо въ маленькіе, кровавые глаза балагулы, наблюдавшіе за нимъ съ острой насмѣшкой изъ-подъ косматыхъ черныхъ бровей.

— Я не лягу спать, Файбишъ, — сказалъ онъ рѣшительно. — Постучите мнѣ только въ окно, и я сейчасъ-же выйду.

И когда Цирельманъ поднялся, чтобы уйти, и почувствовалъ на своей спинѣ десятокъ жадныхъ, удивленныхъ взглядовъ, то онъ вспомнилъ старое актерское время и прошель вдоль погребѣ театральной походкой, съ выпяченной грудью и гордо закинутой назадъ головой, большими шагами, совершенно такъ, какъ уходилъ, бывало, со сцены въ ро-

ляхъ иноземныхъ герцоговъ и предводителей разбойничьихъ шаекъ.

III.

Цирельманъ и его жена Этля — старая не по лѣтамъ женщина, изможденная горемъ и голодной, бродячей жизнью — были бездѣтны. Они жили на краю мѣстечка, снимая уголь у вдовы сапожника, которая, въ свою очередь, нанимала за 2 рубля цѣлую комнату, передѣланную изъ яичнаго склада. Въ огромной и пустой, какъ сарай, комнатѣ, вымазанной голубой известкой, стояли прямо на земляномъ полу неотгороженные никакими занавѣсками двѣ кровати: у одной стѣны помѣщалась вдова съ четырехлѣтней дѣвочкой, а у другой — Цирельманъ съ женой.

Вдова давно уже спала. Слышно было, какъ она ровно, громко и свободно дышала открытымъ ртомъ. Было темно; только кривые подоконники слабо серебрились отъ лучей молодого мѣсяца. Цирельманъ лежалъ подъ старымъ, замасленнымъ пуховымъ бебехомъ, рядомъ со своей женой, и пугливо прислушивался къ ночному безмолвію. Этля спала, или притворялась спящей; она лежала, повернувшись къ мужу спиной, беззвучно и неподвижно, какъ мертвая.

Въ сонной тишинѣ, которую равномерное дыханіе вдовы дѣлало еще глубже и однообразнѣе, всѣ ночные звуки пріобрѣтали странную, тревожную отчетливость. Потрескивалъ разсыхающійся комодъ; возились мыши рядомъ, въ деревянномъ чуланчикѣ; что-то шуршало въ углахъ по стѣнамъ, и всѣ эти стуки и шорохи будили чутко-дремлющую тишину и горячими, пугливыми толчками отзывались въ сердцѣ у Герша.

Время тянулось скучно, напряженно и томительно-долго. Цирельманъ не спалъ, но на него находили какія-то темныя полосы, въ которыя онъ утрачивалъ понятіе о времени. Онъ даже не могъ уловить, когда начинался моментъ такого оцѣпенѣнія; но, внезапно очнувшись, находилъ себя бодрствующимъ и недоумѣвалъ, что съ нимъ случилось, — спалъ-ли онъ только-что, или думалъ о чемъ-то, неожиданно ускользнувшемъ изъ головы, и сколько времени прошло въ этомъ удивительномъ состояніи: секунда, пять минутъ или полчаса?

Зато временами его слухъ и зрѣніе пріобрѣтали необычайную, болѣзненную остроту. Тогда ему чудилось, что онъ слышитъ за окномъ крадущіеся шаги. Онъ приподымался на локтяхъ и, чувствуя въ груди холодъ испуга, глядѣлъ въ окно, и сердце его наполняло всю

комнату оглушительными ударами. И онъ ясно видѣлъ, какъ снаружи, съ улицы, большое, темное лицо настойчиво заглядывало въ комнату, и проходило много мучительныхъ минутъ, пока онъ не убѣждался, что его обманываютъ возбужденные нервы.

«Но вѣдь это кончится. Это должно-же когда-нибудь кончиться, — лихорадочно думалъ Цирельманъ. — Придетъ Файбишъ, и окончится это жуткое ожиданіе... А потомъ окончится и вся эта ночь, таящая въ себѣ такъ много неизвѣстнаго и ужаснаго, и я скажу самому себѣ: «Это было вчера». Неужели я скажу когда-нибудь: Это было вчера? Надо быть спокойнѣе. Вѣдь что-бы тамъ ни было, но все на свѣтѣ проходитъ, и когда-нибудь я скажу самому себѣ: «Это было мѣсяцъ, это было годъ тому назадъ...» И страха больше не будетъ, и все опять станетъ такимъ простымъ, легкимъ, обыкновеннымъ».

И вдругъ, въ одинъ изъ моментовъ необъяснимой потери сознанія, въ окно на самомъ дѣлѣ постучали. Стукъ былъ остороженъ и тихъ, потому что его производили мяготью пальца о стекло; но онъ отозвался громомъ во всѣхъ углахъ, разорвалъ сонную тишину, и отъ него сразу посвѣтлѣло въ комнатѣ. Сердце Цирельмана перестало биться, и все тѣло его похолодѣло, стало мягкимъ и без-

сильнымъ. «Это неправда, это мнѣ только кажется», — пробоваль онъ себя успокоить. Но стукъ опять повторился, такой-же тихій и настойчивый; и сердце затрепыхалось такъ беспорядочно, съ такой болью и силой, что, казалось, отъ его ударовъ готова была лопнуть грудь.

Цирельманъ сѣлъ на кровати и тутъ только замѣтилъ, что его жена тоже сидитъ и смотритъ въ окно. Она была безъ парика, который носить всѣ правовѣрныя замужнія еврейки, — коротковолосая и растрепанная, съ голыми руками и шеей, и лицо ея въ темнотѣ показалось Гершу чужимъ, незнакомымъ и поразительно бѣлымъ. И онъ слышалъ, какъ рядомъ съ нимъ зубы у его жены колотились другъ о друга мелкой и частой дробью.

— Стучать! — шепнула Этля. — Одѣвайся. Гершко: это. Файбишъ.

Стукъ повторился въ третій разъ, и весь домъ точно содрогнулся отъ него. Но Цирельманъ сидѣлъ на кровати, чувствуя, какъ у него мерзнуть и двигаются на головѣ волосы, и, раздавленный страхомъ, не могъ пошевелиться.

— Что ты себѣ думаешь, Цирельманъ? — съ испугомъ и съ гнѣвомъ зашептала Этля, наклоняясь вплотную къ мужу и щекоча его ухо горячимъ дыханіемъ. — Ты безумный

или что? Если ты трусишь, то и не нужно было браться. Файбишь найдетъ другого, а тебѣ онъ этого никогда не простить.

Цирельмана въ эту минуту нестерпимаго страха совсѣмъ не удивило, что женѣ извѣстно то, о чемъ онъ уславливался съ глазу на глазъ съ Файбишемъ; но слова Этли подтолкнули его. Въ однихъ чулкахъ онъ подошелъ къ окну и прильнулъ лицомъ къ стеклу, обгородившись ладонями отъ мутнаго свѣта, который шелъ отъ снѣга. Съ другой стороны окна на него близко и пристально глядѣло темное, широкое, бородатое лицо Файбиша, съ представленными къ вискамъ такъ-же, какъ и у Цирельмана, ладонями. Гершъ торопливо закивалъ головой и, хотя его нельзя было слышать черезъ двойныя рамы, залепеталъ съ заискивающей боязливостью:

— Я сейчасъ, сейчасъ, господинъ Файбишь!.. Я сейчасъ...

Онъ суетливо, ощупью сталъ одѣваться. Но ноги его не попадали въ сапоги, руки не могли сразу найти пуговицъ и петель, и все это было мучительно похоже на бредъ, въ которомъ совершенно забылось имя Файбиша, а было что-то грозное, неумолимое, не знающее ни страха, ни жалости, что стояло вотъ тутъ, рядомъ, и гнало впередъ, и пугало, и сковывало движенія.

Онъ хотѣлъ зажечь лампу, но Этля услышала тарахтѣнье спичекъ и впотѣмахъ вырвала у него изъ рукъ коробку.

— Ша, дурной! — закричала Этля. — Или ты хочешь, чтобы весь базаръ узналъ, что у насъ дѣлается?..

Когда Цирельманъ вышелъ наконецъ на крыльцо, онъ не узналъ ни своего дома, ни безлюдной, пустынной улицы. Блѣдный молодой мѣсяцъ стоялъ надъ мѣстечкомъ, освѣщая занесенныя снѣгомъ крыши и бѣлыя, казавшіяся нѣжно-синими стѣны. Его тихіе лучи мертвымъ, дробящимся блескомъ отражались въ черныхъ стеклахъ оконъ, точно въ открытыхъ, но слѣпыхъ глазахъ. Гдѣ-то на краю мѣстечка монотонно и гулко скрипѣлъ снѣгъ подъ ногами ночного прохожаго. Все стало инымъ, новымъ, все точно притаилось и выжидательно подглядывало за дрожащимъ отъ холода и отъ страха человѣкомъ. И опять Цирельманъ почувствовалъ себя вырваннымъ изъ границъ обычной, прочной и спокойной жизни и обреченнымъ на невѣдомое, полное ужаса существованіе.

— Что такъ долго? — спросилъ сурово Файбишъ. — Ну, не торчи-же на лѣстницѣ, какъ осель! Садись вотъ тутъ, на рогожи! Да смотри: подъ тобой веревки, не запутайся!

У калитки стояли легкія сани, узкія и

высокія спереди, но широкія и низкія къ заднему концу. Запряженныя въ нихъ двѣ лошади порывисто мотали головами, косились назадъ и озабоченно двигали острыми ушами: должно-быть, и онѣ чувствовали необычайное настроеніе этой ночи. Файбишъ сѣлъ впереди, бокомъ, свѣсивъ наружу ноги; а Цирельманъ помѣстился сзади въ неудобной позѣ, держась широко разставленными руками за поручни.

«Все пройдетъ, все окончится», — думалъ актеръ; но эта мысль скользила гдѣ-то поверху, не проникала глубоко въ сознаніе и не успокаивала.

— Ну, часъ добрый! — сказалъ сердито Файбишъ, разбирая вожжи.

Полозья пронзительно и жалобно заплакали подъ санями, и лошади тронулись такъ осторожно; медленно и беззвучно, какъ будто-бы онѣ боязливо и внимательно прислушивались къ каждому своему шагу.

IV.

Навстрѣчу санямъ потянулись бѣлые домики мѣстечка, соломенные крыши и низкіе плетни, изъ-за которыхъ свѣшивались на улицу бѣлыя, облѣпленные снѣгомъ деревья. Въ тонкомъ свѣтѣ мѣсяца, въ отзывчивой морозной

тишинѣ, въ безмолвіи спящихъ домовъ была все та-же новая для Цирельмана, грозная, стерегущая жизнь.

Скоро окончились послѣднія лачуги мѣстечка, и Файбишъ пустилъ озябшихъ лошадей рысью. Мелькнула въ сторонѣ стройная церковь съ зеленой, тускло блестящей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католическаго кладбища, пробѣжали мимо жердяныя изгороди выгона. Сани выѣхали на широкую почтовую дорогу, на которой старые слѣды отъ полозьевъ блестяли далеко впереди лошадей, точно металлическія полосы.

Файбишъ поправился на своемъ сидѣннѣ, подбилъ поцѣ себя полы войлочнаго балахона и повернулся къ Цирельману. На лицѣ балагулы, въ пространствѣ между лисьей шапкой и заиндивѣвшей бородой, только и виднѣлись два маленькихъ глаза, и въ каждомъ изъ нихъ острой, блестящей точкой свѣтилось отраженіе мѣсяца.

— Вижу я, Цирельманъ, что съ васъ плохой помощникъ, — заговорилъ Файбишъ по-русски. — Эхъ, былъ у меня товарищъ Іосель Бакаляръ!.. Впрочемъ, что толковать! Слушайте-же: когда мы переѣдемъ черезъ Збручъ и остановимся, вы будете ждать около лошадей. А потомъ я вернусь, и вы поможете мнѣ увязать товаръ въ рогожи.

— Такъ. Я понимаю, господинъ Файбишъ. Такъ, такъ, — киваль головой Цирельманъ.

— Смотрите хорошо за лошадьми! Лошади молодыя и пугливыя, особенно правая. Не выпускайте изъ рукъ вожжей! Если будетъ гармидерь (шумъ), держите крѣпче!.. Стрѣлять умѣете?..

Цирельманъ глядѣлъ на двѣ яркія, колючія точки въ глазахъ Файбиша и не могъ отъ нихъ оторваться, точно изъ нихъ исходила какая-то сковывающая власть. Онъ слышалъ слова балагулы и держалъ ихъ въ памяти, но не понималъ ихъ смысла.

— Я спрашиваю васъ, умѣете-ли вы стрѣлять изъ револьвера? Вѣрно, нѣтъ?

Цирельманъ хотѣлъ отвѣтить утвердительно. Ему приходилось стрѣлять раньше на сценѣ, убивая себя и другихъ актеровъ холостыми зарядами. Но тотчасъ-же ему вспомнились слухи о томъ, какъ Файбишъ убилъ солдата, и въ немъ шевельнулся ужасъ, вмѣстѣ со свойственнымъ всему еврейскому народу, наслѣдственнымъ отвращеніемъ къ крови.

— Нѣтъ, господинъ Файбишъ, я не могу стрѣлять. Я не умѣю и... и боюсь, — отвѣтилъ онъ робко.

Файбишъ укоризненно покачалъ головой.

— Це-це-це! — съ упрехомъ и съ сожалѣ-

ніемъ зачмокаль онъ языкомъ. — Какой вы! Ну, да все равно... Когда мы поѣдемъ назадъ, слѣдите, чтобы веревки не развязались. Если все кончится хорошо, имѣете получить съ меня пятнадцать кербеле.

— Вы общали, кажется, двадцать пять... — попробоваль несмѣло возразить Цирельманъ.

— Эге, двадцать пять! А десять не хотите? Спрашивается, какая мнѣ съ васъ помощь? Но, ша!.. молчите только! Потомъ мы будемъ видѣть.

Узкая дорога свернула съ почтоваго шляхана лѣво. Навстрѣчу санямъ ровной, высокой стѣной спокойно приближался помѣщичій лѣсъ, черный снизу, а сверху обремененный снѣжными шапками. Въ узкомъ и мрачномъ коридорѣ, между двумя рядами толстыхъ сосновыхъ стволовъ, было темнѣй, тише и теплѣ. Блѣдное сіяніе мѣсяца тонкими, неправильными узорами прорѣзывалось сквозь густыя тѣни деревьевъ и мѣстами слабо и нѣжно серебрило чешую коры. Иногда черезъ дорогу протягивалась, точно огромная рука съ растопыренными бѣлыми пальцами, отягченная снѣгомъ вѣтка. Она задѣвала лошадей по головамъ и, сдѣлавъ широкой, упругій размахъ, осыпала обоихъ сѣдоковъ мягкимъ, холоднымъ пухомъ. По обѣимъ сторонамъ

дорожки, справа и слѣва, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ саней, деревья смыкались въ черную, непроницаемую массу, въ которую страшно было смотрѣть.

Цирельманъ легъ на спину. Вверху, между зубчатыми вѣтками извивался прихотливымъ путемъ просвѣтъ далекаго темно-синяго неба съ большими дрожащими звѣздами. Вершины сосенъ тихо и разнообразно шатались, какъ будто деревья покачивали головами съ различнымъ выраженіемъ: одни задумчиво и неодобрительно, другія съ угрозой, третьи медленно и важно кланялись. Порою Цирельманъ закрывалъ глаза, и тогда ему черезъ нѣсколько минутъ начинало мерещиться, что сани замедляютъ ходъ, потомъ только вздрагиваютъ на одномъ мѣстѣ, и затѣмъ онъ начиналъ двигаться назадъ, въ противоположную сторону. И хотя Цирельману былъ съ дѣтства знакомъ этотъ физическій обманъ, но ему пріятно было мечтать, что, по какому-то волшебству, онъ и въ самомъ дѣлѣ ѣдетъ назадъ, къ мѣстечку, и что неожиданно окончится и эта жуткая поѣздка и эта безконечная, тревожная ночь.

Файбишъ придержалъ лошадей, осмотрѣлся кругомъ, привсталъ на саняхъ и вдругъ круто, безъ дороги свернулъ направо. Лошади увязли по брюхо въ снѣгу, мотая головами и фыркая,

и Цирельманъ услышалъ теплый, ѣдкій запахъ конскаго пота. Старый актеръ совсѣмъ не могъ теперь представить себѣ мѣста, по которому ѣхалъ. Онъ чувствовалъ себя безсильнымъ и покорнымъ, во власти сидѣвшаго впереди, знакомаго и въ то-же время чужого, непонятнаго, страшнаго человѣка.

Лѣсъ окончился. Впереди ровнымъ, бѣлымъ скатомъ спускался внизъ пологій берегъ рѣки, которая широко и пустынно простиралась вплоть до противоположнаго, австрійскаго берега. На той сторонѣ еле замѣтно чернѣли разбросанныя зданія, и въ двухъ-трехъ мѣстахъ красными точками свѣтился огонь. Луны не было видно, — ее закрывалъ лѣсъ, бросавшій черезъ всю рѣку сплошную, глубокую тѣнь. Далеко влѣво, вся въ свѣту, виднѣлась плотина, отдѣленная отъ снѣга рѣзкой, тонкой чертой тѣни. Она тянулась черезъ всю рѣку, соединяя два государства, и Цирельманъ зналъ, что по ней всегда, днемъ и ночью, ходятъ солдаты — австрійскій и нашъ.

Лошади глубоко провалились въ снѣгъ, но быстро и испуганно выкарабкались изъ него, усиленно мотая головами и храпя. Тотчасъ-же копыта ихъ застучали тверже. По легкому ходу полозьевъ Цирельманъ догадался, что сани вѣхали на ледъ. Онъ не сводилъ глазъ

со свѣтлой, чернѣвшей своимъ откосомъ на снѣгу плотины и все крѣпче впивался пальцами въ поручни. Файбишъ стоялъ въ саняхъ и тоже глядѣлъ на плотину. Его короткія руки дрожали отъ усилія, съ которымъ онъ сдерживалъ рвавшихся впередъ лошадей.

— А-а-а-а! — пронесся вдругъ надъ рѣкой высокій, точно стонущій человѣческій крикъ.

Въ немъ одновременно слышался и испугъ одинокаго, затерявшагося среди ночи чело-вѣка, и угроза. Файбишъ, весь перегнувшись назадъ, натянулъ вожжи. Лошади заскользили и заскребли по льду задними ногами и стали.

— А-а-а! — повторился стонущій крикъ.

Цирельманъ увидѣлъ, какъ въ одномъ мѣстѣ надъ плотинной голубоватый воздухъ разорвался въ узкую огненную трещину. Что-то страшное, никогда имъ неслыханное, жалобно пропѣло у него надъ головой, и сейчасъ-же вслѣдъ за этимъ звукомъ глухой грохотъ выстрѣла тяжело прокатился по рѣкѣ.

Файбишъ яростно, съ необыкновенной силой заскрежеталъ зубами.

— Все къ чорту! — захрипѣлъ онъ сквозь стиснутыя челюсти.

И вдругъ, поднявъ кверху кулакъ, балагула выкрикнулъ во всю мочь легкихъ бѣшеное, циничное, бессмысленное ругательство

Отъ сильнаго и неожиданнаго толчка Цирельманъ упалъ на спину и опять увидѣлъ надъ собой темное, спокойное небо съ дрожащими звѣздами. Лошади летѣли нестройнымъ галопомъ, высоко подбрасывая задами; а Файбишъ стоялъ въ саняхъ и, наклонившись впередъ, безъ остановки, со всего размаха стегалъ кнутомъ. Цирельманъ обезумѣлъ отъ ужаса. Онъ вскочилъ на колѣни, судорожно оплелъ руками ноги Файбиша и вдругъ, самъ не узнавая своего голоса, закричалъ пронзительно и отчаянно:

— Ой, не бейте меня! Ой, ратуйте! — кричалъ онъ, захлебываясь и давясь отъ плача. — Ой, ой, ой, господинъ Файбишъ! Милый, дорогой, драгоценный Файбишъ! Ой, убиваютъ, ратуйте! Файбишъ, вы сильный, какъ Богъ, вы храбрый, какъ левъ! Ой, ой, спасите меня!

— Пусти меня, чортъ!.. Оставь! — хрипѣлъ Файбишъ.

Его сильная, жесткая рука комкала губы и носъ Цирельмана; но актеръ мочилъ слюнями и кусалъ его пальцы и, вырывая изъ нихъ на мгновеніе ротъ, кричалъ все громче и безумнѣе и крѣпче прижимался лицомъ къ шершавому балахону и къ сапогамъ Файбиша. А лошади все неслись, заложивъ назадъ уши,

и торчавшій изъ-подъ снѣга прошлогодній камышъ хлесталъ по бокамъ саней.

— Молчи, собака!.. Убью! — рычалъ, задыхаясь отъ борьбы, Файбишъ.

Ему удалось свободной рукой вытащить изъ кармана балахона револьверъ. Онъ взвелъ курокъ и ткнулъ дуломъ въ лобъ Цирельмана.

— Слушай, подлець... я выстрѣлю! — гнѣвно пригрозилъ балагула. — Замолчи, или я выстрѣлю, чортъ-бы тебя побралъ!

Но актеръ не переставалъ кричать и цѣпляться за ноги Файбиша. Ужасъ, овладѣвшій имъ, совершенно помрачилъ его разсудокъ и сковалъ память. Онъ не помнилъ, какъ Файбишъ колотилъ его стволомъ револьвера по головѣ, не слыхалъ его угрозъ и очнулся только тогда, когда, послѣ жестокаго удара ногой въ спину, онъ покатился бокомъ по льду, сметая своимъ тѣломъ снѣгъ.

Онъ сѣлъ и тотчасъ-же замолчалъ. Возлѣ него возвышалась густая стѣна камыша; сухіе, высокіе стебли, волнуясь и шелестя, то наклонялись всѣ разомъ къ нему съ участливымъ любопытствомъ, то отшатывались въ испугъ назадъ. Сидя на льду и упираясь въ него ладонями, Цирельманъ оглянулся вокругъ себя. Дикаго, звѣринаго ужаса уже не было въ его душѣ, — его увозилъ съ собою Файбишъ, лошади котораго глухо и враз-

бродъ стучали вдали копытами, — но было удивленіе, грусть и чувство безпомощнаго одиночества.

Цирельманъ упалъ какъ разъ у берега, вдоль котораго шла широкая, избитая подковами дорога. Рѣка дѣлала въ этомъ мѣстѣ излучину, а стѣна лѣса заворачивала назадъ. За положимъ, ровнымъ берегомъ видно было отсюда огромное бѣлое поле въ концѣ его, на, самомъ горизонтѣ, тянулась темная полоса дальняго лѣса. Луна, готовая уже закатиться, стояла надъ этой низкой, неровной чертой, блѣдная, точно утомленная, и было что-то невыразимо-печальное и безнадежное въ этомъ пустомъ, бѣломъ полѣ, въ дальнемъ лѣсѣ и въ золотистомъ сумракѣ, окружавшемъ усталую луну. И скорбь, и сознание своего одиночества все сильнѣе наполняли душу Цирельмана. Онъ не сводилъ глазъ съ узкаго, нѣжнаго серпа, прижималъ руки къ груди и шепталъ давно забытыя слова великой молитвы:

— Шма, Исроэль, Адонаи элегейну, Адонаи эходъ! Слушай, Израиль, Богъ нашъ, Богъ единъ!

Что-то теплое капнуло ему на руку. Онъ поднялъ ее къ глазамъ и увидѣлъ черное пятно. Только теперь онъ услышалъ боль въ переносицѣ, въ темени и въ подбородкѣ и вспомнилъ, какъ его билъ по головѣ револьверомъ

Файбишъ. Онъ взялъ въ руку горсть снѣга, потеръ имъ лицо. и снѣгъ сталъ темнымъ. И долго сидѣлъ такимъ образомъ Цирельманъ, унимая кровь. Глаза его, полные слезъ, были устремлены на луну, готовую сѣсть, а въ груди разливалась большая скорбь. Почему-то вспомнилась ему вся его безтолковая жизнь, скитанье изъ города въ городъ, пьянство, кривлянье въ погребяхъ и трактирахъ, и эта жизнь представилась ему такой-же темной и долгой, какъ и вся сегодняшняя страшная ночь...

Вдругъ его ухо уловило далекіе, дробные и частые звуки копытъ; нѣсколько лошадей тяжело скакали по прибрежной дорогѣ. Машинально, почти не сознавая, что онъ дѣлаетъ, Цирельманъ на животѣ проползъ въ камыши и растянулся ничкомъ, уйдя лицомъ въ холодный, мягкій снѣгъ. И тотчасъ-же надъ самой его головой пронесся, сотрясая ледъ и бряцая оружіемъ, отрядъ верховыхъ солдатъ. Они говорили между собою всѣ разомъ, рѣзкими, отрывистыми, сердитыми голосами; но словъ ихъ Гершъ не разобралъ. Онъ лежалъ лицомъ въ снѣгу и, чувствуя его талый запахъ, шепталъ про себя молитву.

Солдаты быстро промчались. Когда топотъ ихъ лошадей, постепенно теряясь вдали, сталъ еле слышнымъ, Цирельманъ поднялся на колѣ-

ни. Но то, что онъ увидѣлъ, заставило его оцѣпенѣть отъ ужаса. Прямо на него скакалъ одиночный всадникъ, вѣроятно, отставшій отъ товарищей. Его огромная, худая лошадь неслась тяжелымъ галопомъ, вытянувъ впередъ длинную шею съ острой мордой и прижатыми назадъ ушами. Она такъ близко пролетѣла возлѣ Цирельмана, что тотъ ясно увидалъ ея раздувшіяся ноздри и большіе глаза, блестящіе дикимъ испугомъ, и вѣтеръ отъ ея быстрого бѣга пахнулъ актеру въ лицо. Солдатъ сидѣлъ, нагнувшись впередъ, почти лежа на шеѣ лошади. Его сабля равномерно, съ металлическимъ дребезжаніемъ, билась о сѣдло. Но онъ не замѣтилъ еврея, стоявшаго на колѣняхъ среди густого камыша, и промчался мимо, крича что-то вслѣдъ своимъ товарищамъ...

Только часа черезъ три, иззябшій и обезсиленный, добрался Цирельманъ до мѣстечка. Ночь была теперь такъ темна, что даже бѣлыхъ стѣнъ домовъ нельзя было различить въ ея мракѣ. Цирельманъ уже повернулъ въ свою улицу, какъ сзади него закрипѣли полозья. Однимъ прыжкомъ очутился актеръ въ глубокой, занесенной снѣгомъ канавѣ и прижался къ плетню.

Это возвращался избѣгнувшій погони Файбишъ. Лошади его были покрыты пѣной и дышали часто и прерывисто. Острые глаза стараго контрабандиста различили съезжившуюся въ темнотѣ фигуру. Онъ придержалъ лошадей и окликнулъ вполголоса:

— Эй! Кто здѣсь прячется у забора? Это ты, Цирельманъ?

Гершъ затаилъ дыханіе и еще плотнѣе прижался къ изгороди.

— О, свинья! Трусъ! Предатель! — злобно зашипѣлъ Файбишъ. — На-же, на!.. Получи!..

Кнутъ рѣзко свистнулъ въ воздухѣ. Файбишъ билъ широко и размашисто, тѣмъ движеніемъ, какимъ онъ обыкновенно стегалъ собакъ. Но Гершъ быстро повернулся къ балагулѣ задомъ, сгорбился, спряталъ шею въ плечи, и жестокіе удары пришлись ему по спинѣ и по рукавамъ.

— Будь ты проклятъ, трусъ, гадина! — бросилъ ему напоследокъ Файбишъ, трогая лошадей. — Если-бы не осѣчка, ты-бы теперь валялся на рѣкѣ, какъ дохлая собака!..

Черезъ четверть часа Цирельманъ уже лежалъ подъ теплымъ бебехомъ рядомъ съ Этлей, которая спала, или притворялась спящей. Но холодъ долго не выходилъ изъ его назябшагося за много часовъ тѣла, а ноги были ледяными и точно деревянными. Когда-же тепло

окончательно проникло въ его грудь и животъ, и онъ вспомнилъ сегодняшнюю дорогу и острый блескъ въ глазахъ Файбиша, и выстрѣлъ съ плотины, и печальную луну надъ лѣсомъ, и солдата, мчавшагося, точно библейское видѣніе, на огромной лошади съ вытянутой шеей, — то ему показалось невѣроятнымъ, что это именно онъ, а не кто-то другой, посторонній ему, испыталъ всѣ ужасы этой ночи. Вспомнилось ему также, какъ онъ убѣждалъ самого себя, что должна когда-нибудь окончиться и эта ночь и эта поѣздка... и, съ удовольствіемъ ощущая живую теплоту, шедшую отъ тѣла Этли, онъ сжался въ комочекъ и засмѣялся подъ бебехомъ тихимъ, радостнымъ смѣхомъ.

НА ГЛУХАРЕЙ.

Я не могу себѣ представить, какія ощущенія въ мірѣ могутъ сравниться съ тѣмъ, что испытываешь на глухариной охотѣ. Въ ней такъ много неожиданнаго, волнующаго, таинственнаго, труднаго и прелестнаго, что этихъ впечатлѣній не забудешь никогда въ жизни.

Просыпаешься среди темной, безлунной мартовской ночи и сначала никакъ не можешь сообразить, гдѣ ты находишься. Лежишь на земляномъ полу подлѣ цѣлой груды раскаленныхъ головешекъ, по которымъ то и дѣло трепетно пробѣгаютъ послѣдніе огненные языки. Бревенчатая стѣна и низкій бревенчатый потолокъ больше чѣмъ на палецъ покрыты черной, висящей, какъ бахрама, сажей. Пространство въ половину кубической сажени. вмѣсто двери — узкое отверстіе, сквозь которое глядитъ ночь, еще болѣе темная, чѣмъ эти закоптѣлыя стѣны.

Но отчаянный храпъ человѣка, лежащаго по другую сторону костра, живо возвращаетъ память не успѣвшему еще проснуться, какъ слѣдуетъ, сознанію. Мы находимся въ старой, заброшенной «угольницѣ», въ самомъ центрѣ Полѣсья, въ сорока верстахъ отъ какого-бы

то ни было жилья, кромѣ одинокихъ лѣсныхъ сторожекъ, затерянныхъ среди непроходимой чащи. Насъ окружаетъ со всѣхъ сторонъ сплошной вѣковой боръ, равный по величинѣ доброму нѣмецкому княжеству.

Вспоминается весь вчерашній день: ранній торопливый выѣздъ и узкая лѣсная дорожка, вьющаяся самыми неожиданными зигзагами между деревьями, — дорожка, по которой умѣютъ пробираться только привычныя, крещенныя, но сердитыя и бойкія полѣсскія лошаденки. Цѣлый день мы то пробирались среди сугробовъ рыхлаго, грязнаго снѣга, то вязли въ густой грязи, то тряслись и подпрыгивали, вмѣстѣ съ телѣгой, по узловатымъ корневищамъ, пересѣкающимъ дорогу, то на песчаныхъ, уже обсохшихъ пригоркахъ сходили на землю и криками ободряли усталыхъ, потемнѣвшихъ отъ поту лошадей, то переправлялись мимо снесенныхъ половодьемъ мостовъ черезъ неглубокіе, но широкіе и быстрые, коричневые отъ грязи, лѣсные ручьи... Наконецъ, около одной сторожки дорога совсѣмъ прекратилась, и мы добрались до угольницы пѣшкомъ, средь быстро падавшихъ на землю сумерокъ, по едва замѣтнымъ тропинкамъ, злые, голодные, поминутно сбиваясь съ дороги и не довѣряя другъ другу...

Неподвижный, устремленный на меня

взглядъ заставляетъ меня обернуться. Мой спутникъ уже не спить. Онъ спокойно смотритъ на меня сонными, ничего не выражающими глазами и усиленно посасываетъ потухшую короткую трубку. Увидѣвъ, что я уже бодрствую, онъ языкомъ передвигаетъ трубку въ уголь рта и произноситъ глухо:

— Эге!.. Не спите, панычъ? А я цѣлую ночь не сплю. Все васъ стерегу.

— То-то ты храпѣлъ такъ.

— Ну-ну!.. Я однимъ ухомъ сплю, а другимъ все слушаю... Я хитрый... А ну-ка, панычъ, который теперь часъ будетъ?

Я смотрю на часы.

— Часъ безъ четверти... Можетъ-быть, собираться?

Трофимъ вяло глядитъ на потухающіе уголья, задумчиво чешетъ затылокъ, сдвинувъ шапку совсѣмъ на глаза, потомъ чешетъ поясницу.

— А что-жь! — вдругъ восклицаетъ онъ съ неожиданнымъ приливомъ энергіи. — Собираться; такъ собираться. Лучше пойдемъ себѣ помаленьку, не будемъ торопиться...

Сборы наши не занимаютъ много времени. Я стягиваю потуже вокругъ живота патронташный ремень и выпрастываю изъ-подъ него верху бока свитки, чтобы дать больше свободы рукамъ, сильно встряхиваюсь всѣмъ

тѣломъ, чтобы убѣдиться, что ничто на мнѣ не бренчитъ и не болтается, натягиваю кожаныя бахилы *) и крѣпко обвязываю ихъ повыше колѣнъ вокругъ ногъ, а тѣмъ временемъ Трофимъ даетъ мнѣ послѣднія наставленія, и хотя я и слышалъ, по крайней мѣрѣ, разъ десять, я слушаю еще разъ со вниманіемъ и новымъ любопытствомъ.

Трофимъ Щербатый — казенный лѣсникъ, благосклонному вниманію котораго меня рекомендовалъ лѣсничій — мой родственникъ, а его непосредственный начальникъ. Трофимъ безпеченъ, грубъ, немного хвастунъ и лѣнтяй и втихомолку торгуетъ казенной дичью. Это его отрицательныя качества. Но зато онъ смѣль, знаетъ лѣсъ не хуже любого звѣря, прекрасный стрѣлокъ и неутомимый охотникъ. Ко мнѣ онъ относится покровительственно.

— Сначала глухарь съ опаской играетъ, — наставительно говоритъ Трофимъ. — Чокъ! и замолчалъ. Сидитъ себѣ на сукѣ и во всѣ стороны слушаетъ. Потомъ опять: чокъ, чокъ! — и опять тихо. Уже тутъ спаси васъ, Господи, панычъ, поворохнуться, или сучкомъ треснуть — только и устышите, какъ онъ

*) Бахилы — родъ толстаго кожанаго чулка. Бахилы выдѣлываются изъ цѣльнаго куска кожи и потому совершенно не пропускаютъ воды.

крыльями по всему лѣсу захлопаетъ. Потому что его хоть и называютъ — глухарь, а нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ такой чуткой птицы, какъ онъ... Потомъ вдругъ какъ зашипить! Вотъ тугъ-то вы ужъ, что есть духу, скачите впередъ. Изъ всей силы... Прыгнули разъ съ пять — и стой! И — ни муръ-муръ. Даже не пять, а хоть четыре, аль-бы три сначала. И ужъ сто-ой... опять жди пѣсни. Тутъ онъ въ скорости опять заиграетъ: чокъ-чокъ... чокъ-чокъ... чокъ-чокъ... и опять зашипѣлъ. Вы опять впередъ и опять стой — ожидай пѣсню. Иной глухарь какъ разойдется, такъ безъ передышки пѣсень тридцать сыграетъ, а вы только знайте себѣ, скакайте впередъ и больше ничего. А потомъ вдругъ замолчить и а-ни-ни, какъ отрѣзалъ. Полчаса, подлець, будетъ прислушиваться. Ну, ужъ тутъ ничего не сдѣлаешь: какъ сталъ, такъ и стой. Ждите. Другой разъ въ багнѣ *) по поясъ загрузнешь, дрожишь весь, а терпи! Ноги замлѣютъ, спина ноетъ, руки болятъ, а все-таки жди... А какъ онъ только опять началъ играть, такъ вы, паньчъ, одну пѣсню пропустите. Бываютъ изъ нихъ такіе прохвосты, что стрѣльца обдуриваютъ. Это харкуны называются. Зачокаетъ, зачокаетъ... ты — скокъ, а онъ и за-

*) Багно—вязкое болото.

молчалъ. Подождетъ немного и давай харкать: хрр... хр... Это онъ другимъ глухарямъ вѣсть подаетъ: берегись, говорить, стрѣлецъ идетъ. И ужъ если гдѣ такой харкунъ завелся — все токовище ни къ чортову батьку не годится. Только и знаетъ, холера, что сидить на суку да сторожить, не идетъ-ли кто.

Мы поднимаемся по тремъ землянымъ ступенькамъ, вылѣзаемъ сквозь узкое отверстіе, бокомъ, изъ угольницы и сразу попадаемъ въ такую глубокую темень, что кажется, будто насъ внезапно окунули въ какую-то всемірную чернильницу. Я останавливаюсь въ нерѣшительности, почти въ страхѣ. Чтобы обмануть себя, я нарочно на нѣсколько секундъ закрываю глаза и потомъ быстро раскрываю ихъ. Нѣтъ! — ночь попрежнему черна и непроницаема до жуткости. Я подымаю голову вверхъ. Но на небѣ нѣтъ ни одной звѣзды, и у меня вдругъ мелькаетъ мистическая, тревожная мысль: неужели все живущее осуждено погрузиться послѣ смерти въ такой-же непобѣдимый, вѣчный, ужасный мракъ?

— Ну, что-же вы, панычъ? Идите за мной, — слышу я гдѣ-то впереди себя глухой голосъ Щербатаго.

И я иду, прислушиваясь къ его шагамъ, боязливо простирая передъ собой руки и

осторожно ощупывая ногами почву. Меня ни на секунду не покидаетъ ожиданіе, что вотъ-вотъ я наткнуись лицомъ на острый сучокъ, и отъ этого ожиданія я испытываю въ глазахъ странную, тупую боль, точно кто-то сильно давить на нихъ изнутри.

Мы идемъ безъ дороги, прямикомъ. Ноги по колѣно безъ вскаго усилія входятъ въ жидкій, какъ кашаца, зернистый, холодный снѣгъ, подъ которымъ при каждомъ шагѣ громко хлупаетъ вода. То мы идемъ по сплошной грязи, съ трудомъ вытаскивая изъ нея ноги, иногда взбираемся на сухіе и твердые пригорки, иногда шагаемъ по мшистымъ кочкамъ, подающимся мягко и упруго внизъ, когда на нихъ ступаешь. Но гдѣ мы? Куда мы идемъ? — я не знаю. Я съ первыхъ-же шаговъ пересталъ опознаваться, и теперь нашъ путь представляется мнѣ чѣмъ-то нелѣпымъ, тяжелымъ и фантастическимъ, какъ кошмаръ. Порою вѣтки какихъ-то деревьевъ хлещутъ меня по лицу и цѣпляются, точно невидимыя длинныя руки, за мои плечи. Порою прямо передо мной, въ аршинѣ отъ моего лица, вдругъ вырастаетъ черныи, толстый стволъ дерева. Я останавливаюсь, отшатываюсь въ испугъ и протягиваю впередъ руки... но пальцы мои встрѣчаютъ все тотъ-же непроницаемый для глазъ, пропитанный тьмою воздухъ.

— Идите, идите, панычъ, — ободряетъ меня Щербатый. — Тутъ недалеко... всего полторы версты... Можно-бы было... О, чортъ!..

Я слышу, какъ онъ падаетъ куда-то внизъ, ломая сухой валежникъ, и какъ потомъ его тѣло съ размаху бултыхается въ воду. Мной овладѣваетъ дикій, эгоистическій страхъ и какая-то растерянная, беспомощная, тоскливая озлобленность. Мнѣ кажется, что, если я сдѣлаю еще хоть одинъ шагъ среди этой грозной темноты, я тоже полечу въ глубокую, холодную и грязную трясину.

— Въ яму угодилъ! — говоритъ откуда-то снизу Щербатый, и я слышу, какъ онъ, выльзая, отфыркивается и топчется ногами по грязи. — Держитесь лѣвѣе, панычъ, лѣвѣе... Идите на меня... вотъ такъ... И какъ это я въ нее такъ ловко нацѣлился? Вѣдь, кажись, добре знаю. Въ эту самую яму въ позапрошломъ году лось попалъ, весною. Такъ и подохъ въ ней, не могъ выкарабкаться...

Его спокойствіе передается и мнѣ, и опять я бреду, ощупывая, какъ слѣпецъ, руками воздухъ и прислушиваясь къ шагамъ лѣсника.

— Много-ли осталось, Трофимъ?

— Осталось? Да еще съ версту будетъ. Нѣтъ, не будетъ съ версту... Меньше... Будетъ еще съ три четверти.

Чтобы обмануть свое нетерпѣніе, я начинаю

считать шаги. «Отсчитаю хоть пятьсотъ шаговъ, думаю я, тогда ужъ самые пустяки останутся». И я уже успѣваю насчитать болѣе двухсотъ, какъ вдругъ наталкиваюсь на спину остановившагося Щербатаго.

— Чего ты сталъ, Трофимъ?

— Тутъ полегче надо, панычъ. Будемъ рѣчонку переходить.

Я слышу, какъ быстро-текущая вода бурлить и плещется вокругъ Трофимовыхъ сапогъ, и тотчасъ-же чувствую, что и я самъ постепенно вхожу къ воду, которая упруго и яростно бьется о мои ноги. Разлившаяся лѣсная рѣчонка не глубока, но она такъ стремительно несется внизъ по крутому косогору, что я принужденъ волочить ноги по дну, изъ опасенія быть сбитымъ теченіемъ. По временамъ я попадаю на болѣе глубокія мѣста и каждый разъ, внезапно погружаясь въ нихъ, чувствую, какъ у меня отъ испуга дыханіе пересѣкается быстрымъ и короткимъ вздохомъ. Мнѣ немного жутко, потому что самой воды я въ темнотѣ не вижу, но со всѣхъ сторонъ, далеко вокругъ себя, я слышу ея торопливое журчанье, таинственные всплески и гнѣвный ропотъ...

Наконецъ, мы выходимъ на плотный, упругій, песчаный берегъ. Я только теперь замѣчаю, что ночь немного посвѣтлѣла, — замѣ-

чаю потому, что смутно вижу спину шагающего впереди Трофима и неясны очертанія сосенъ. Трофимъ на ходу поворачиваетъ ко мнѣ голову и шепчетъ:

— Ну, панычъ, идите потихоньку, не шумите. Сейчасъ придемъ на токовище. «Онъ» еще съ вечера усѣлся на-мѣсто, а теперь проснулся и слушаетъ...

— А скоро онъ начнетъ? — спрашиваю я также шопотомъ.

— Тсс... тихонько!.. Сперва журавли заиграютъ.

Теперь мы подвигаемся медленно, шагъ за шагомъ. Подъ ногами у насъ узенькая лѣсная тропинка, обледенѣлая и скользкая. Трофимъ идетъ совсѣмъ безшумно въ своихъ легкихъ лыковыхъ постолахъ, но я то и дѣло наступаю на какія-то вѣточки и сучки, и мнѣ кажется, что ихъ трескъ оглушительно разносится по всему лѣсу.

Трофимъ останавливается и, не оборачиваясь, подзываетъ меня къ себѣ рукою. Я подхожу. Онъ наклоняется къ моему уху и шепчетъ такъ тихо, что я съ трудомъ разбираю слова:

— Здѣсь станемъ. Не ворошиться, панычъ.

Ночь поблѣднѣла еще больше. Отъ земли поднялся густой туманъ. Я слышу его влажное прикосновеніе на своемъ лицѣ, слышу

его сырой запахъ. На его сѣдомъ фонѣ ближайшія сосны однотонно плоско и неясно вырисовываются своими прямыми, голыми стволами. Въ ихъ неподвижности среди этой глубокой тишины, среди этого холодного, мокраго тумана чувствуется что-то суровое, сознательно-печальное и покорное.

Я не знаю, сколько прошло времени, можетъ-быть, пять минутъ, можетъ-быть, полчаса. Внезапно мой слухъ поражается такими странными звуками, что я невольно вздрагиваю отъ неожиданности. Это какіе-то высокіе, необыкновенно звучные и гармоничные стоны, издаваемые цѣлыми десятками голосовъ. Я никакъ не могу опредѣлить, откуда они несутся: справа, слѣва, спереди или сзади? Они торопятся, вторятъ другъ другу, перегоняютъ другъ друга, сплетаются и вновь расходятся, образуя своеобразный размѣръ и оригинальную мелодію, и разбуженный лѣсъ откликается на нее звонкимъ и чистымъ отзвукомъ.

— Журавли! — еле слышно произносить Трофимъ.

— Уу-рлы, урлу-рлы, урлу-рлы, — стонетъ по всему лѣсу невидимый хоръ, и едва только онъ замолкаетъ, какъ въ отвѣтъ ему откуда-то съ противоположнаго конца лѣса раздаются такіе-же гармоническіе стоны другого стада проснувшихся журавлей, потомъ

отзывается третье стадо, за нимъ четвертое... Эта утренняя перекличка служить сигналомъ для всего лѣса. Заяцъ начинаетъ вопить своимъ дрожащимъ, гнусавымъ и прерывающимся сопрано, гдѣ-то близко около насъ чуфыкнулъ задорно и рѣзко тетеревъ, сова расхохоталась на верхушкѣ высокаго дерева... И опять все стихаетъ, погружается въ прежнюю чуткую дремоту, и опять мы стоимъ молча и неподвижно и, еле дыша и теряя счетъ времени, подслушиваемъ тайны лѣса.

Вдругъ Трофимъ встrepенулся, вытянулъ шею, подался впередъ всѣмъ туловищемъ и такъ и замеръ въ напряженной, выжидательной позѣ. Очевидно, его изощренный слухъ уловилъ какіе-то отдаленные, слабые звуки, но я, какъ ни прислушивался, какъ ни насилывалъ свое вниманіе, ничего не могъ различить, кромѣ непрерывнаго глухого шума, раздававшагося у меня въ ушахъ.

— Играетъ! — прошепталъ Трофимъ. — Слышите?

— Нѣтъ.

— Все равно, идите за мной. Какъ я скокну, такъ и вы. Нога въ ногу... А какъ услышите совсѣмъ хорошо, тогда скажите... я тогда отъ васъ отстану... О! Чуете? Опять заигралъ.

Но я попрежнему ничего не слыхалъ. Вдругъ

Трофимъ, точно подброшенный сильной пружиной, сорвался съ мѣста, сдѣлалъ три огромныхъ прыжка прямо по глубокому снѣгу и остановился, точно окаменѣлый. Я не могъ поспѣть за нимъ, и заторопившись, сдѣлалъ лишній шагъ.

Трофимъ молча повернулся ко мнѣ и съ искаженнымъ, злымъ и взволнованнымъ лицомъ погрозилъ мнѣ пальцемъ.

Черезъ минуту пружина опять бросила его впередъ. Теперь я изловчился и, попадая ногами какъ разъ въ тѣ самыя мѣста, которыя только-что оставляли ноги Трофима, успѣлъ остановиться вмѣстѣ съ нимъ. Трофимъ одобрительно кивнулъ головой.

Мы сдѣлали такимъ образомъ около двадцати перебѣжекъ, когда я наконецъ разслышалъ играющаго глухаря. Это были сухіе, отрывистые звуки съ металлическимъ оттѣнкомъ, похожіе на то, какъ если-бы кто щелкалъ ногтемъ по пустой жестяной коробкѣ. Они слѣдовали другъ за другомъ попарно, сначала очень рѣдко, съ интерваломъ въ нѣсколько секундъ, но потомъ повторялись все чаще и чаще, пока не переходили въ мелкую, сливающуюся дробь. Въ этотъ моментъ мы съ Трофимомъ стремглавъ бросались впередъ, высоко вскидывая ноги и разбрасывая во кругъ себя жидкій снѣгъ.

— Трофимъ, — шепнулъ я, дернувъ за рукавъ лѣсника. — Теперь я...

Но онъ грубо вырвалъ у меня руку и укоризненно замоталъ головой. И только тогда, когда глухарь опять зачастилъ и перешелъ въ дробь, Трофимъ рѣзко обернулся ко мнѣ и закричалъ:

— Можно говорить только подъ пѣсню. Пойдите!

Дождавшись еще одной дроби, онъ прибавилъ также громко и торопливо:

— Помните: цѣлься подъ пѣсню, заряжай подъ пѣсню, стрѣляй подъ пѣсню...

Наконецъ, во время третьей дроби онъ сказалъ уже болѣе спокойно:

— Захотите кашлять — ждите пѣсню. Ну.. идите.

Глухарь тотчасъ-же заигралъ въ четвертый разъ. Я ринулся впередъ. Въ то-же время побѣждалъ и Трофимъ, но не за мной, а въ противоположную сторону. Такимъ образомъ въ пять перебѣжекъ мы потеряли другъ друга, и я остался одинъ.

У меня такъ сильно колотилось сердце и такъ дрожали ноги, что я рѣшился пропустить нѣсколько пѣсенъ, чтобы оправиться. Тутъ я разслышалъ совершенно ясно и второе колѣно. Частая дробь незамѣтно и быстро перехо-

дить въ сплошной жесткій и рѣзкій звукъ, похожій скорѣе на скрежесть, чѣмъ на шипѣнье и напоминающій звукъ, происходящій отъ тренія двухъ металлическихъ поверхностей. Этотъ скрежесть продолжается не долго — секунды четыре, — но зато въ эти секунды глухарь абсолютно ничего не видитъ и не слышитъ, потому что плотно замуриваетъ глаза, а уши у него герметически закупориваются отростками челюстныхъ костей. Въ эти секунды можно выпалить изъ пушки въ разстояніи четверти аршина отъ его головы: онъ не обратитъ на выстрѣлъ никакого вниманія и все-таки закончитъ свое колѣно. Уже много времени спустя я узналъ, что всѣ эти звуки глухарь производитъ своимъ кривымъ и твердымъ клювомъ. Глухарь — единственная птица, у которой нѣтъ языка, но зато огромная полость его рта представляетъ собою прекраснѣйшій резонаторъ. Начиная пѣсню, онъ ударяетъ полостями клюва — нижней о верхнюю. Ударить и прислушивается. Потомъ еще ударить и еще прислушивается, и ударяетъ все чаще и чаще, пока не переходитъ въ дробь. Тогда глухарь уже не въ силахъ остановиться. Въ дикомъ любовномъ экстазѣ онъ третъ одной челюстью о другую, ожесточенно скрежещетъ ими и забываетъ въ эти мгновенія объ опасности, и о многочисленныхъ врагахъ, и о

мудромъ благоразуміи, и рѣшительно обо всемъ на свѣтъ.

Въ то время, когда я отдыхалъ, глухарь вдругъ пересталъ играть и молчалъ, должно-быть, минутъ съ десять. Потомъ онъ чокнулъ одинъ разъ, но — тихо, осторожно, какъ будто-бы нехотя, и опять замолчалъ на нѣсколько минутъ, затѣмъ чокнулъ другой разъ, уже сильнѣе и громче, еще немного погодя чокнулъ два раза, затѣмъ опять два, зачастилъ, заторопился и, будучи не въ силахъ остановиться, перешелъ во второе колѣно. Согласно наставленію Щербатова, я пропустилъ первую пѣсню. Глухарь тотчасъ-же, почти безъ перерыва, заигралъ вторую, и я побѣжалъ впередъ.

Ровная покатость, по которой мнѣ до сихъ поръ приходилось бѣжать, перешла въ низменное водянистое болото, поросшее рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ. Изрѣдка попадалась рѣдкая ольха и осина и приземистые кусты можжевельника. Одинокія кочки, покрытыя мягкимъ мохомъ и брусникой, торчали кое-гдѣ изъ-подъ тонкаго и хрупкаго утренняго ледка, затянувшего за ночь болото. Мнѣ не всегда удавалось попадать ногами на эти кочки, и я обрывался, уходя въ грязь по поясъ. Бахилы мои налились водою и страшно отяжелѣли. Одинъ разъ, вытаскивая ноги изъ болота, я не удержалъ рав-

новѣсія и, пробивъ тѣломъ тонкій ледъ, упалъ ничкомъ прямо въ вязкую и холодную гущу. Однако у меня хватило мужества лежать въ такомъ неудобномъ положеніи, чтобы не всполошить глухаря. Я лежалъ и слышалъ, какъ надо мною булькаютъ поднимающіеся изъ болота пузырьки, чувствовалъ, какъ вонючая влага медленно просачивается за бортъ и въ рукава моей свитки... Къ счастью, глухарь недолго испытывалъ мое терпѣніе. Когда онъ заигралъ, я быстро вскочилъ и утвердился на кочкѣ. Въ слѣдующую пѣсню я побѣжалъ дальше.

Съ каждой перебѣжкой пѣсня становилась все яснѣе и яснѣе. Теперь я не только слышалъ хорошо оба колѣна, но даже различалъ между ними какой-то новый странный звукъ, какое-то глухое и быстрое фырканье. Наконецъ я остановился. Я слышалъ, что глухарь играетъ гдѣ-то совсѣмъ близко, надъ самой моей головой, на одной изъ шести или семи сосенъ, обступившихъ почти правильнымъ кругомъ кочку, на которой я стоялъ. Подъ пѣсню я поднималъ голову вверхъ и сталъ жадно всматриваться въ густыя шапки сосенъ. Но или ночь была еще слишкомъ темна, или мой глазъ недостаточно зорокъ, — я ничего не различалъ въ этихъ черныхъ массахъ перепутавшихся вѣтвей.

А глухарь все игралъ и игралъ, не переставая, одну пѣсню за другой. Онъ такъ разгорячился, что окончательно забылъ объ осторожности: онъ уже не чокалъ, а начиналъ прямо съ дроби и, едва окончивъ одну пѣсню, тотчасъ-же принимался за другую. Никогда въ жизни, ни раньше, ни впоследствии, не слыхалъ я ничего болѣе страннаго, загадочнаго и волнующаго, чѣмъ эти металлическіе, жесткіе звуки. Въ нихъ чувствуется что-то допотопное, что-то принадлежавшее давно исчезнувшимъ породамъ, жившимъ во времена, когда птицы и звѣри чудовищнаго вида перекликались страшными голосами въ таинственныхъ первобытныхъ лѣсахъ...

Мнѣ показалось, что въ вѣтвяхъ ближайшаго дерева шевельнулось что-то черное. Это «что-то» могло быть и сучкомъ и птицей, но мое воображеніе увѣрило меня, что это глухарь. Выждавъ пѣсню, я дрожащими руками ввелъ курокъ и прицѣлился... Ноги у меня тряслись отъ волненія, а сердце такъ колотилось въ груди, что стукъ его, казалось, разносился по всему лѣсу.

Глухарь заигралъ снова. Я потянулъ собачку. Какъ загремѣлъ, какъ загрохоталъ послѣ моего выстрѣла проснувшійся лѣсъ!.. По всей его громадной площади пронеслось эхо, разбиваясь о деревья на тысячи медленно

стихающихъ отзвуковъ, и еще долго-долго глухо гудѣло и рокотало оно гдѣ-то далеко на опушкѣ... Съ дерева дождемъ посыпалась сбитая выстрѣломъ хвоя. Должно-быть, она обсыпала и глухаря, потому что онъ на нѣсколько секундъ прекратилъ пѣсню, но потомъ, точно разсердившись на внезапную помѣху, заигралъ съ новымъ ожесточеніемъ.

Тотчасъ-же послѣ своего выстрѣла я услышалъ сзади себя, въ очень далекомъ разстояніи, выстрѣлъ Трофимовой шестилинейной одностволки, — характерный, долгій, глухой, подобный пушечному выстрѣлу. «Этотъ-то ужъ навѣрно не промахнулся», — подумалъ я и почувствовалъ, что въ сердцѣ моемъ шевельнулась охотничья зависть.

Разсвѣтъ близился. Въ воздухѣ стало холоднѣе и сырѣе. Опять прокричали журавли, и опять отозвались на ихъ крикъ лѣсные обитатели: звонко затрещала жолна, меланхолически застонала горлица, гдѣ-то слышалось робкое и нѣжное болботаніе тетерева, пичужки съ легкимъ пискомъ завоились въ кустахъ.

А я все стоялъ, не рѣшаясь стрѣлять въ другой разъ, и мной уже начинали овладѣвать скука и утомленіе. Вдругъ со стороны Трофима раздался второй выстрѣлъ. Что-то шевельнулось вверху надъ моей головой.

Я поднялъ глаза и почти въ томъ самомъ мѣстѣ, куда только-что стрѣлялъ, совершенно отчетливо увидѣлъ глухаря.

Отъ меня до него по прямому направленію было не больше десяти-пятнадцати шаговъ, но онъ мнѣ показался величиною съ домашняго голубя. Играя пѣсню, онъ то вытягивалъ впередъ, то опять втягивалъ шею, точь въ точь, какъ это дѣлаетъ кричащій индюкъ, а переходя ко второму колѣну, онъ весь поворачивался на суку, опускалъ внизъ крылья и съ шумомъ разворачивалъ вѣромъ хвостъ (этотъ-то шумъ, похожій на фырканье, я и услышалъ раньше, не понимая его значенія). Во всѣхъ его движеніяхъ было что-то напыщенное, глубоко-важное и комическое.

На этотъ разъ я не промахнулся. Глухарь, какъ камень, свалился внизъ, брякнувшись глухо и плотно о землю. Я подбѣжалъ къ нему. Онъ былъ живъ и судорожно бился и подпрыгивалъ по землѣ, яростно хлопая могучими крыльями. Однако страданія его не были продолжительны. Онъ упалъ спиной въ мелкую лужицу и уже не могъ больше подняться. Нѣсколько разъ его шея быстро поднялась изъ воды и опустилась, потомъ по ногамъ пробѣжала мелкая, частая дрожь, и все было кончено.

Я поднялъ его. Въ немъ было фунтовъ около

пятнадцати вѣсу, а величиной онъ равнялся средняго роста индюку. Шея и животъ — черные, спина свѣтло-коричневая, съ сѣдоватыми пятнами, брови красныя, бархатистаго оттѣнка, лапы въ сѣрыхъ штаникахъ, а пальцы ихъ покрыты костяной бахромой, глазъ круглый, коричневый, съ большимъ, круглымъ и чернымъ зрачкомъ.

Скоро я услышалъ голосъ звавшаго меня Трофима, и мы сошлись съ нимъ на прежней тропинкѣ. За спиной у него было два глухаря, которыхъ онъ связалъ между собою, продѣвъ сквозь ихъ клювы веревку.

— Я хитрый, — говорилъ онъ хвастливо. — Я, какъ подошелъ къ своему пѣтуху, такъ слышу, что zarazъ и другой прилетѣлъ, да близенько такъ, всего какихъ тридцать шаговъ... и давай они оба играть. Ну, думаю, если своего убью, такъ другой заслышитъ и улетитъ. Такъ я что сдѣлалъ! Прицѣлился въ своего да и жду, когда другой заиграетъ. Тотъ какъ заигралъ, я сейчасъ — бахъ! — и есть. И сейчасъ къ другому — разъ! — и готово. Вотъ какъ у насъ, панычъ!..

Потомъ онъ взвѣсилъ моего глухаря на рукѣ и похвалилъ:

— Пѣтухъ хорошій... Добрый пѣтухъ... Ну, съ полемъ васъ, панычъ!

Когда мы возвращались обратно, лѣсъ

совсѣмъ проснулся и ожилъ и весь наполнился птичьимъ радостнымъ гомономъ. Пахло весной, талой землею и прошлогоднимъ прѣлымъ листомъ. Голубое небо было прохладно, чисто и весело, а верхушки сосенъ, точно осыпанныя золотой пылью, уже грѣлись въ первыхъ лучахъ весенняго солнца.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



Гамбринусъ	7
Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ	57
Олеся	131
Трусъ	273
На глухарей.	313



249

69 405 AA A 30

1

1

1